ЮРИЙ АЙХЕНВАЛЬД

ВИСОКОСНЫЙ ГОД

ЮРИЙ АЙХЕНВАЛЬД ВИСОКОСНЫЙ ГОД

Юрий Айхенвальд с дочерью Александрой. 1976 год.

Юрий Александрович Айхенвальд родился в 1928 г. Дед, Юлий Айхенвальд, известный литературовед и философ. Отец — «красный профессор», погибший в сталинское время. Сам Юрий Айхенвальд также был арестован в 1949 г., попал в ссылку. В 1951 г. был арестован вторично и находился до 1955 г. в Ленинградской спецпсихбольнице. В 1957 г. окончил институт и до 1968 г. работал в школе преподавателем литературы. Оставил пре-

ЮРИЙ АЙХЕНВАЛЬД

ВИСОКОСНЫЙ ГОД

КНИГА СТИХОВ И ПРОЗЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
— ЭХО —
1980

Обложка Бориса Рабиновича

Distributed by A. Neimanis Buchvertrieb G.m.b.H.
Bauerstr. 28, 8000 Munich 40,
West Germany

F. Zeuner Buch- und Offsetdruck,
Peter-Müllerstr.43, 8000 München 50,
Printed in West Germany

ПРЕДИСЛОВИЕ

Когда я попросил моего друга, в прошлом ленинградского, а ныне венского художника, сделать обложку для новой книги Ю. Айхенвальда, он прислал несколько эскизов. На всех них повторялся один и тот же мотив: раздвоенный фас-профиль сатурнова лица, расщепленное Время. Объясняя это свое решение, Борис Рабинович написал, что при чтении книги никак не мог уйти от ощущения какой-то раздвоенности автора. В отношении к Родине, в отношении к эмиграции, во всем...

Мне это наблюдение кажется точным. Возможно, именно эта раздвоенность и мешает сразу получить у Айхенвальда так уж всем настоятельно необходимый ответ на традиционный русский вопрос: «Како веруешь?» Определить веру Айхенвальда — т. е. поставить пределы, ограничить — я бы не взялся, несмотря на многолетнее знакомство и дружеские личные отношения. Человек с ясно выраженным глубоким религиозным (и, пожалуй, даже христианским) сознанием, он тем не менее не поколеблется, обращаясь к Богу, написать:

> ... темны Твои пути,
> Там человеку правды не найти.
> А если там себя найти он сможет, —
> То много ль в том Твоей заслуги, Боже?

Ему, интеллигенту далеко не первого поколения, для которого «Вехи» были и остаются одним из самых значительных фактов личной духовной биографии, тем не менее «противно, когда любители ‚Вех' вырывают эти

самые вехи и носятся с ними в руках, как с кольями, отыскивая могилу какой-нибудь несчастной Перовской, чтобы этот кол ей в могилу забить» (из частного письма).

Такие иллюстрации можно было бы множить одну за другой, но, присматриваясь к ним, начинаешь замечать то общее, что порождает и одновременно снимает эту противоречивую раздвоенность — органическое неприятие крайностей, нежелание быть зачисленным раз и навсегда по чьему-либо ведомству, имманентная независимость духа. По закону маятника это иногда толкает его на крайние утверждения, которые кажутся контрастирующими с другими, сделанными совсем недавно...

...Кто же я? Я один?
Раб? Кусок чьей-то жизни и плоти?
Я готов, Господин,
Но уж если я раб,
То Господен!

(1973)

...Но если я и вправду сотворен, —
То пусть я горд, завистлив, зол и слаб,
Но я Твое подобье!
Я не раб!

(1978)

Эта противоречивость не мешает Айхенвальду быть поэтом редкой целостности. Если применить скомпрометированное, но точное слово, сама противоречивость диалектически создает в Айхенвальде эту целостность. Интонации его безошибочно узнаваемы, даже когда он прячется под маски. Как многие серьезные русские поэты, занесенные судьбою в славное шестидесятилетие, Айхенвальд часто и подолгу вынужден был уходить в перевод. Он переводил ростановского «Сирано де Берже-

рака», польских, словацких и болгарских драматургов, либретто «Человека из Ламанчи» — знаменитого мьюзикла по «Дон Кихоту». И каждый раз этот перевод приобретал все характерные черты айхенвальдовской поэтики. Я помню, как были поражены мы, слушатели на первом авторском чтении одного из таких переводов: значительная часть его оказалась знакомой нам по более ранним, собственным айхенвальдовским стихам. И, тем не менее, удивительным образом это был именно полноценный перевод.

(Тем, кто сомневается, что такое возможно, напомню, что в ныне классическом переводе того же «Сирано» Т. Щепкиной-Куперник в балладе гвардейцев-гасконцев вообще нет ни одной строки французского оригинала. Между тем, эта баллада считается главной поэтической жемчужиной Ростана в русском варианте).

Если выделить только одну, наиболее существенную черту в айхенвальдовской поэтической индивидуальности, то я назвал бы прежде всего чувство истории, со всей противоречивостью, всякой истории присущей. Из современных русских поэтов мало можно назвать таких, кто так чутко воспринимал бы прошлое и — главное — воспринимал бы сегодняшний обыденный день как историю в становлении — не менее важную, чем хрестоматийные свершения.

Я думаю, именно этот историзм поэзии и прозы Айхенвальда и сделал его писателем преимущественно самиздатским. Официозная страна стремится жить вне истории, окостенеть.

Я помню, как в середине следствия по моему делу ко мне на допрос зашел зам. начальника следственного отдела Московского УКГБ Ю. Смирнов — чекист «призыва XX съезда», из тех, что стремятся казаться новыми, ничего не меняя по существу. Усевшись против меня и проникновенно рассказывая о своей «трудной и тревожной чекистской работе», он вдруг сказал, что

пишет стихи. И прочел — стихи «о чекистском горении»:

Горение — не тление, не дым,
Оно взлетает пламем голубым . . . и т. д.

Следователь, ведший допрос, восхищенно прищелкнул языком и воскликнул, обращаясь ко мне: «Слышали? Это вам не Айхенвальд!»

Это действительно был не Айхенвальд. Но меня поразило, как чекистская память из обилия прочитанного по профессиональной нужде самиздата немедленно и безошибочно выделила поэта, в наибольшей степени могущего служить антиподом прямолинейно-штампованного, недвижного чекистского мышления. И не потому, что Айхенвальд в своих стихах стремится «подрывать и ослаблять». Айхенвальд — поэт, в общем-то, неполитический. Просто он — часть русской культуры, той, которую сейчас с чьей-то легкой руки называют «второй культурой». А она — никакая не вторая, она первая — и единственная.

Двух России не бывает,
Россия одна на земле . . .

«Високосный год» — книга трагическая, посвященная памяти неожиданно погибшего Гриши Подъяпольского, нашего общего друга, значительность фигуры которого все более и более осознается. Не случайно мотив длящихся потерь всплывает то в одном, то в другом месте книги. «То похороны, то проводы» . . . И снова о том же . . .

Я не знаю, как книга будет читаться через полвека, но сейчас — это страницы нашей общей памяти, памяти тех, кто пережил и переживает трагические 70-е годы. Трагические и, вместе с тем, радостные, ибо нет сомнения в том, что им предстоит во многом сформиро-

вать облик нашего будущего, каким бы оно ни было. И тогда сегодняшние потери могут обернуться приобретениями, как это уже бывало не раз в истории.

«Високосный год» — вторая книга Ю. Айхенвальда, публикуемая на Западе. Отделившись от автора, самиздатский текст начинает жить своей жизнью и неведомыми путями сам ищет путей к читателю и издателю. Нашел свой путь и «Високосный год». Радостно сознавать, что «издательские трудности», о которых с опасением и болью пишет Айхенвальд, миновали его по эту сторону границы. Теперь книге предстоит обратный путь — в Россию, к читателю, туда, где она родилась.

Кронид Любарский

ВИСОКОСНЫЙ ГОД

Книга стихов и прозы

Эта книга посвящается
светлой памяти
Григория Сергеевича Подъяпольского.

Несколько слов о стихах и событиях

...Событием может стать что угодно: груда строительного мусора под снегом или ощущение недвижности времени, не того, которое мы измеряем, а того, в котором живем.

Случается, что штрих социальной неурядицы перечеркивает все вокруг и становится событием, заставляющим мелодию зазвучать, а слова встревожиться и сбежаться на звук.

Многие из стихов этой книги добрались до своих последних строчек лишь через несколько лет. Течение жизни возвращало назад и давало стихам новый толчок — продолжаться.

Я не буду писать о каждом стихотворении. Я хочу рассказать лишь о некоторых эпизодах, чтобы стихи встали как бы в общую раму обстоятельств, в которых возникли. Через мозаику эпизодов я надеюсь до некоторой степени воссоздать тот жизненный фон, ту почву, которая помогла мне преобразить в стихи Слово, живущее, как зерно, вне пахаря и поля.

ГЕНЕРАЛ НА ЧЕТЫРЕХ ПОДМЕТКАХ

Однажды я заспорил о поэзии со своим жестковыйным работодателем, редактором диапозитивных фильмов о древнерусских церквах и прочих памятниках древлестроительства. Редактор был молод, все у него было впереди, и он туда, вперед, торопился. Возможно, поэтому весь он был — пробивная жесткость. Усы у него

были колючие, но не торчали нагло в разные стороны, а опускались вниз, как притихшие финки; у него складки на физиономии и полушубок-дубленка, и квадратные, тупые, как автомобильные фары, носки сапог — все было сделано из жестяного, острого, современного материала, из какого консервные банки делают.

Вот такой же вроде него сказал мне как-то раз, что Эльсберг бескорыстно продвигает молодежь, и нечего нам, злопамятным бывшим зекам, поминать Эльсбергу прошлое, когда он через эту свою молодежь — весь в будущем.

Эльсберг, профессор, доктор филологии, даже для сталинских времен феноменальный стукач, заведовал в Институте мировой литературы им. Горького целым отделом. И никого не смешило, что этот доносчик, в то же самое время вполне искренне осуждавший вместе со своими жертвами многие сталинские акции, был специалистом по творчеству великого сатирика Салтыкова-Щедрина. Я думаю, что именно в предчувствии таких саркастических парадоксов Щедрин и сделался к старости из сатирика мизантропом.

Прокуратура хрущевской разоблачительной поры не нашла в профессорском доносительстве ничего преступного, но одновременно потребовала реабилитации тех, кто остался в живых после эльсберговских доносов.

Эльсберг потом подытожил свою ситуацию статьей в институтской стенной газете. Он писал, что старшее поколение, формируя нового человека коммунистического будущего, должно передать новому человеку свои традиции.

Зря Иуда понервничал и повесился.

Мой с виду лояльный к слову редактор на самом деле принадлежал к тем изничтожителям музыки смыслов, которые со своей стороны участвуют в повсеместном ныне разрушении Разума и Добра. Таким читателям мало, чтобы незнакомые прежде друг с другом слова дружили между собой в стихотворной строке. Им

хочется противоестественного: видеть, как слова сцепляются в темный ком, теряют разум; оргия умалишенных звуков, фантомное соитие словообразных призраков развлекает любителя гибельных зрелищ, как ребенка калейдоскоп.

Но когда поэт берет Слово, как пастушок тростинку, и выдувает из слова сердцевину, смысл, то он ведет себя нечеловечно: он насилует Слово. А стихи становятся похожими на затянувшееся междометие.

О, достоевскиймо бегущей тучи!
О, пушкиноты млеющего полдня!
Ночь тянется, как Тютчев,
Замирное безмерным полня . . .

Мой редактор настаивал, что вышеприведенное четверостишие Хлебникова «многослойно» и «многозначно», в противовес «тривиальным» стихам Коржавина или Бродского. Я полагаю, что для моего оппонента этих несхожих поэтов объединяло даже не столько наличие смысла в стихах, сколько атмосфера «крамольности» вокруг имен. Вообще стихи, обладающие неким содержанием, могут обеспокоить, встревожить; зато стихи, никаким содержанием не обладающие, — чистая форма — могут принести читателю безо всяких затрат репутацию утонченного знатока.

Я объяснил моему собеседнику, что последняя строка никак не спасает хлебниковского четверостишия от претенциозной литературности. Общепринятое, даже если спрессовать его в неологизм, не сделается неожиданностью. По-моему, большинство хлебниковских ритмизированных и рифмованных текстов так же относятся к поэзии, как уголь в топке электростанции к свету в электрической лампочке: сырье, даже богатое, далеко еще не свет.

Конечно, тяготение к «шивороту — навыворот» естественно в нашей ситуации, где все в человеке и вокруг

уговаривает Разум отчаяться. К тому же эксцентрика (ее можно назвать еще и «бредовостью» или там «театром абсурда») — важное организующее начало нашей действительности.

Вот пример: в студии «Диафильм», где происходил наш спор о поэзии, прежде был лютеранский храм. Чтобы его высокий шпиль не мешал диафильмам сниматься, шпиль ампутировали; над входным порталом теперь торчит вместо шпиля толстая обшитая жестью культя. А готический соборный зал перегородили по горизонталям и вертикалям в этажи, комнаты, клетушки . . .

Птичник в умершем храме — чем не эксцентрика?

Но тут я вспомнил раннего Заболоцкого, а также Шалтая-Болтая, который сидел на стене: бывает эксцентрика доброжелательная к людям. Струнка такой эксцентрики есть в душе у каждого. Задребезжит она у меня или звук будет чистым?

В это время я уже шел под гору по кривому хитрованскому московскому переулку как раз к бывшему Ивановскому монастырю, где, говорят, томилась крестьянская истязательница Салтычиха, а теперь никто не томится, но в подворотной щели иногда видны по щиколотку сапоги часовых. И вот, идучи вниз по переулку от бывшей церкви, которую разжаловали, отняв гордый шпиль, к бывшему женскому монастырю, который пожаловали воинским званием, я вдруг вспомнил одного военных времен генерала, поразившего меня в ту холодную, свирепую зиму сапогами. На сапогах были подметки не просто толстые, а удивлявшие вызывающим множественным числом. На каждом сапоге, по-особенному сшитом, было архитектурно выражено по две подметки, а всего их было — четыре!

Из этого детского воспоминания о рослом, как башня, генерале на четырех подметках получились первые строчки стихотворения «Воробьиная песня».

А навстречу сказочному генеральскому сапогу всплыло привычное, ежедневное мое ощущение бес-

смысленности и безнадежности разговора со «встречным».

В 1932 г., за четыре года до начала большого сталинского террора, в год, когда миллионы раскулаченных обживали гиблые окраинные земли, поэт Борис Корнилов написал «Песню о встречном». Песня начиналась так: «Нас утро встречает прохладой».

Возможно, следователь НКВД в разговоре с Корниловым дополнил эту строчку:

— Кого встречает прохладой, кого не встречает совсем.

Сперва погубили Бориса Корнилова, а потом и его следователь исчез бесследно.

А «наверху» было решено: раз народ так любит петь «Песню о встречном», пусть он и берет эту песню себе. Песню стали называть «народной».

Для поэта это и оказалось «встречным», будущим.

Это «встречное», как оно определяется сейчас, я и имею в виду. Оно ведь пришло многие годы назад, приходит сегодня и не опоздает завтра. Оно приходит, ничего не помнит, ни за что не хочет отвечать и самому себе ставит монументы.

Конечно же, в сопоставлении с генералами на кованых подметках я чувствую себя воробушком на чужой бронзе.

Но пустоты бронзовых статуй изобличают их тайную выморочность. Торжественные монументы чреваты зловещей пустотой. И ничем они не могут разродиться.

Однако, так как мне от этого живется ничуть не легче, я и назвал цикл стихов «Воробьиные песни».

ОДИССЕЯ У КАЖДОГО СВОЯ

В апреле 1950 г. на куйбышевской пересылке у меня был разговор с одним зеком, в прежней жизни — важным коммунистом, деятелем еврейской культуры. Те-

перь его вера, что прежде он все делал правильно, ломалась на куски, как кости на колесе.

— Знаете, что такое Сталин? — сказал он мне. — Я много об этом думал. (Он думал об этом как о явлении неодушевленном, как о буре с грозой: «что такое», а не «кто он»). Представьте себе местечкового мясника. Огромный детина среди мяса. Рукава засучены, руки красные, он их иногда вытирает о фартук. Вы еще только вошли, он уже: «Сколько?» Шматина мяса в руке. Рубит. Остаток шмяк — на полку. Следующему: «Сколько?» Он жонглирует мясом. Шмяк — хрясь — шмяк — хрясь — хрясь! Вот кто — Сталин. А я кричал: «За Родину! За Сталина!» Может быть, я был сумасшедшим?

Тут человек пожал плечами ошеломленно, прямотаки с ужасом, и уставился в плотный полусвет, который был как занавес перед нами. Мы лежали, забившись в темную секцию нижних нар, и верхние нары закрывали от нас солнце.

Потом этот мой знакомец попал на каторжный медный рудник в Джезказган. Потом . . .

Сейчас я бы возразил моему собеседнику, что Сталина нужно сравнивать не с грубым Мясником, а с чутким Балетмейстером. Еще Павел I мечтал об общеимперской балетной красоте; затем Константин Леонтьев прославил церемониальную эстетику цветущих иерархий; но только одному Сталину удалось заставить всех построиться в строгий порядок и плясать под одну дудку. При этом танцующим приходилось обходить великое множество острых углов. Может быть, у нас потому и балет так хорош, что атмосфера подходящая для его развития: люди всю жизнь свою ходят как бы на пуантах. В результате икры у всех крепкие, затоптать могут, как нигде. Правда, танцы старомодны.

Впрочем, это мнение иностранных обозревателей. На самом деле музыка сталинского рожка удивительным образом сочетает хороводную мелодию с маршевой. И

люди, повязанные круговой порукой, всем хороводом ухитряются целенаправленно маршировать в государственном направлении.

Но и в этом положении, когда все, взявшись за руки и кружась, двигаются вдаль, видя только соседей и центр круга, где притоптывает затейник, — даже в этом положении утешение для желающих есть.

Еще Макс Штирнер, развлекаясь вместе с Марксом и Энгельсом в берлинском кабачке Гиппеля, предсказал, что спасение людям придет от «подлинных кавказцев», которые уничтожат «небо культуры».* Так что напрасно Мандельштам с неосмотрительным пренебрежением отзывался о «кавказском горце».** Вспомним, что Н. Бердяев, профессиональный мыслитель — вот как бывают профессиональные цирковые борцы — писал о «вечно бабьем в русской душе», которая все поджидает себе жениха, сильного мужчину. Бердяев даже перечислил женихов: сперва Монгол, потом Немец. О Сосо Джугашвили в 1918 г. Бердяев еще не знал.***

Но этот «чудесный грузин», как о нем однажды отозвался Ленин (в другой раз Ильич Сосо обругал), — каким же он оказался сильным мужем!

Так что если мы сохраним традиции «подлинных кавказцев», то, может быть, нам еще удастся обрушить «небо культуры» врагам на головы, а что останется — взять себе.

Но я тогда еще не мог при помощи этих метафор объяснить моему собеседнику, что Общее Дело не погибло.

А сейчас объяснять поздно: мой сокамерник заведует кафедрой научного коммунизма. И это, оказывает-

---

* М. Штирнер. «Единственный и его достояние». СПБ, 1906, стр. 46—47.

** «Мы живем, под собою не чуя страны»... О. Мандельштам, Собр. соч. т. I, Вашингтон, 1967, стр. 202.

*** Н. Бердяев. «Судьбы России». М. 1918, стр. 30.

ся, длится с ним больше двадцати лет, с 1957 г., и я даже не знаю, нужно ли ему сочувствовать: у него, говорят, выросли хорошие дети, сам он как будто доволен; кости у сломанных было убеждений посрастались. Хотя непредусмотрительно, да и непорядочно, пока человек жив, говорить: «У него все кончилось благополучно», — похоже, что в данном случае к тому идет . . .

В тот день, когда я получил все эти утешительные известия о бывшем соузнике, еще что-то произошло в мире и напомнило мне о моем собственном двусмысленном положении: я ведь не заведую, не подписываю, не участвую . . . я «нет и нет» со всех сторон. У меня есть только одно «да»: писательство.

Тут я и вспомнил о жизненной линии Одиссея, который выбрал правильный путь и благополучно вернулся на Итаку.

Так возникло стихотворение «О тщете наших усилий».

РУБЦОВСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

У пространства стихотворного цикла должна быть своя глубина, свои перекрестки, чтобы читателю было где разминуться, разойтись с самим собой. Он аукается — ему по-разному отвечают стихи. И с ним происходит то же, что со мной: его зовет в разные стороны, от контраста к контрасту.

Когда уехал на Запад один из первоэмигрантов послесталинского времени, мой друг Александр Вольпин, у меня возникли строки: «Он ходит по Риму, а я по Москве. Он строит на камне, а я на песке . . .»

Правда, я в то время уже знал, что наша твердая земля непрерывно обнаруживает свою летейскую природу. Но загадочность собственной судьбы казалась мне

зловещей, а небо над Римом — вечно голубым. И я не стал трогать этих строк.

Через несколько времени после того, как я написал стихотворение о своем друге, временном жителе вечного города, я поехал в командировку в Сибирь. Вся поездка, а особенно разговор с художником Игорем Ш., подытоживший наши рубцовские впечатления, вызвали к жизни стихотворение «Путевая зарисовка».

Рубцовск — город молодой, заводской, угрюмый и там полным-полно бывших зеков. Центр застроен в основном деревянной, мышиного цвета ветошью, и лужи во дворах похожи на озера. Новые белые многоэтажные дома современной конструктивной архитектуры (спичечная коробка на торце), словно в испуге перед застарелой грязью, шарахнулись на окраины и, обступив домишки, клетушки, сарайчики, надменно посверкивают стеклами верхних этажей, смотрят свысока, как мальчишки в центре плавают по весенним коричневым лужам на маленьких плотах.

В старой части города есть деревянная церковь, такая расписная, веселая, пестрая, что как-то нескладно называть ее деревянной, — вся она свадебная, праздничная, из пряничного теста.

Мы четверо — двое чиновников из московских руководящих инстанций, художник Игорь Ш. и я, — решили зайти в церковь посмотреть, что там делают: молятся или хранят запчасти к тракторам. Будь с нами человек хоть бы пятью годами постарше, возможно, мы и не полюбопытствовали бы: люди крепкой сталинской кладки окна имели бойничного типа, лишнего любопытства в себе не терпели, шли вперед, не оборачиваясь. Но самым старшим по возрасту у нас был Игорь Ш., бывший флота капитан-лейтенант, мечтавший о живописи и ради нынешнего своего вольного художества сумевший вырваться даже с военной службы. Возможно, в память об этом он и отрастил себе черную бороду: на флоте у нас бород не носят, в то время даже на воле ношение

бороды расценивалось, как потенциальное фрондерство. Ведь еще сто тридцать лет назад на Хомякова был послан Государю донос, что Хомяков вопреки указу, запрещавшему дворянам носить бороды, бороду отрастил, — и доносу этому был дан такой ход, что донос, как торпеда, пройдя сквозь войны и революции, все равно оказался действительным, касавшимся, правда, уже не дворян, которых не стало, а служилых советских людей. Все они к сталинскому времени стали бритыми, только Сталин и Буденный ходили в усах, да еще некоторым членам политбюро дозволялись усишки. Исключением был Калинин, «всесоюзный староста», которому при его деревенской должности борода полагалась.

Все дальнейшее определила именно игорева борода.

Пересекши гигантские лужи (был конец марта), где места помельче были обозначены кирпичами, каверзно качавшимися под ногой, так что прыгали мы с кирпича на кирпич почти на пуантах, легко, как танцоры, мы подошли к ступеням церковного крыльца. Оттуда нам навстречу спускался священник в лиловенькой скуфейке, молодой, плотненький, краснощекий, с бородкой, как и наш Игорь.

— Закрыта церковь, — объяснил он. — Старушки наши там полы моют. А вы наследите. Неудобно. В шесть служба. Тогда приходите.

Мы повернулись было, чтобы упрыгать прочь, как кузнечики, с кирпичика на кирпичик, но батюшка нас окликнул:

— Простите, граждане! Вы как будто не здешние?

— Из Москвы, — отвечал кто-то из нас.

— А художника среди вас нет ли? — тут батюшка взглянул на Игоря.

— Есть, — отвечал Игорь. — Я художник, а вот он искусствовед.

— Да, — подтвердил я.

— Мы все тут проездом, — сказал в ответ на на-

стороженный взгляд священника, обращенный к нашим спутникам, один из них, самый ответственный и молодой. — Приехали помочь рубцовскому театру.

— Хотелось бы с художником посоветоваться, — проговорил батюшка нерешительно.

— Пожалуйста, пожалуйста, — ответили мы чуть не хором.

В церкви никого не было.

Продолговатые окна подкупольного барабана красиво освещали полусферу вверху. Храм был посвящен Михаилу Архангелу. Помню, летела надо мной могучая икра Архангела в сандалии на ремешках. Другой ногой Архангел попирал врага, очень удачно расположенного на вогнутом пространстве картины и прекрасно освещенного. Картина была написана профессионально, в той академической манере, когда все строго и спокойно, хотя одежды развеваются, мышцы напряжены в схватке, а по голубому небу бегут облачка.

— Академик Розанов писал, — пояснил священник. — Он уж старенький был. Писал внизу на щитах. Их потом наверху крепили.

Священник продолжил беседу с Игорем о том, в какие цвета окрашивать пол и стены. (Пол был коричневый, стены — салатные. «Казенно очень как-то», — пожаловался батюшка). Я пошел дальше, оглядывая чистенькое, скудное убранство храма. Алтарь меня поразил: левая половина Деисусного чина была написана в реалистической манере прошлого века; правая же половина являла собой столь же неумелую копию икон рублевского иконостаса. Контраст выходил довольно нелепый.

— Это у нас так, один местный любитель, сами видите, какой, — охотно объяснил мне батюшка. — Сперва-то он хотел все сделать, как у Рублева. Но... Прихожанка у нас тут одна есть. Энергичная такая, боевая, член церковного актива. Все ее уважают. Так она, как половина икон была готова, говорит: «Зачем же у свя-

гителей головки-то все такие склоненные? Художник эти образа в старину писал, тогда было татарское иго. А я двадцать пять лет у станка простояла, никому не кланялась. Зачем мне эти головы склоненные? Пусть святые наши прямо голову держат!» Народ ее поддержал, что эти святые очень мрачные. Тогда художник стал с других образцов писать. И вышел разнобой. Одни святые, видите, как бы в профиль, а другие прямо на вас смотрят.

Священник на все отвечал нам четко и доброжелательно.

Я узнал, что он кончил юридический факультет Томского университета. Братья у него — священники, службу он знал хорошо — вот его и рукоположили...

— Посещаемость у нас неплохая, актив хороший, — говорил он. — Приходите вечером, увидите.

Но вечера у нас были заняты местным театром, расположенным около посеребренного памятника кому-то с дланью, простертой вдаль. Не помню, кому был памятник: все эти посеребренные и позолоченные на один жест, как на одно лицо.

В театре (пятьсот, кажется, мест) зрителей было человек двадцать, и в дирекции шел спор, не перенести ли спектакль на другой день, когда в зале тоже будет, наверное, человек двадцать-двадцать пять; тогда в сумме получится пятьдесят, будет хоть какая-то публика...

Но директор театра был неумолим: зал натоплен, надо работать, товарищи!

Оказалось, это у него была тактика: если зритель видит, что сколько бы народу ни пришло, — играют, то, значит, актеры уважают народ.

Правда, народ в столь малом числе возвращал театр ко временам аристократов, когда зрителей в зале бывало меньше, чем на сцене крепостных; но народ у нас и есть владыка, хоть бы его было двадцать пять человек или даже один Берия, сталинский главный стервятник,

любивший, говорят, чтобы актеры играли, а хоры пели исключительно для него одного.

Итак, спектакль для двадцати избранных из двухсоттысячного Рубцовска состоялся. Артисты играли «Бешеные деньги» Островского, сцены из жизни призрачных для теперешнего народа людей, а пяток тупоглазых скучающих парней со своими девчонками, несколько пенсионеров, уставших от телевизора, ежедневного как манная каша для младенцев, и еще какие-то, неразличимые в темноте зрительного зала, но, хотелось надеяться, симпатичные чудаки смотрели и слушали.

Возможно, присутствие московских гостей подстегивало актеров; играли они своих давно вымерших дам и господ с большой нервной отдачей, словно им даже перед этим эфемерным залом доставляло удовольствие играть.

Когда мы возвращались после спектакля, режиссер, седенький, плотненький, низенький, всю жизнь промотавшийся по провинции, Абрам Моисеевич нам пояснял:

— А вот вы обратили внимание, из чего сделаны колонны во втором действии? Вы обратите внимание, они же из ничего сделаны! У нас тут художник, так дай Бог такого к вам в столицу!

Он начал рассказывать про какие-то технологические таинства, как изготовить, когда денег нет, ампирные колонны из газетной бумаги, а бальные платья шить из мешковины, фактурного, выразительного материала.

Я в это время думал, что такие вот фантомные театрики в некотором роде русское чудо. Как ни ущербно, как ни жалостно их существование, а все же вот этот паренек, идущий рядом, сыграл ведь по-своему князя Телятева, разорившегося аристократа. Сыграл не легкомысленного мота, а нашел свою нотку: простодушие. Из простецов был этот князь, наивная, добрая

душа, которая просто не умела жить иначе, а, может, и была бы рада, если б знала, как . . .

Но ведь не этому батюшке с его церковным активом . . . Ах, простите: но ведь не тому батюшке с олеографией: вознесение в Бозе усопшего монарха (ангелы с лебедиными крыльями голубоватыми руками поднимают монарха в собольей мантии, с тяжкой короной на голове — прямо в таком виде — в рай) — не этим батюшкам было преобразить грешную мятущуюся душу . . .

Заседают райкомы, подрайкомы, исполкомы, руководят банями и театрами — и вдруг рождается в «сфере обслуживания» (так при мне определил назначение театра один краевой начальник) непредсказуемое: воспоминание России о самой себе. Не только через колонны из кисеи или бальные туфельки из лыка — это всё на тему ловкости рук кузнеца Левши — нет: через нежданный штрих роли или живую строчку стиха, или вот в этом простодушном хлопотливом священнике, но помнит себя . . . да только как тут сказать? Помнит «кто» или «что»? Хорошо бы так: «что-то одушевленное» помнит; имени у него нет, облика тоже . . .

Тут я услышал в темноте драку.

Услышал, потому что быстрая, легкая пляска серых теней в глубине за тротуаром между деревьями сперва обратила моё внимание только странностью. Я понял, что дерутся, лишь когда услышал сочные, звучные, телом по телу (у пощечин — верно заметил когда-то поэт Иннокентий Анненский — «мокрый» звук) удары в темноте.

Вдруг тьму осветил возглас:

— Ты что, своего?!

Игорь Николаевич ринулся разнимать. Остальные (трое мужчин из театра плюс двое наших москвичей) остановились; я бросился вслед за Игорем. Игорь кого-то швырнул, растащил, что-то заорал; в результате драка не прекратилась, а выкатилась на улицу. Я бросился

к живой скульптурной группе: четверо топтали одного. Вдруг этот вывернулся у них из-под ног, но вырваться не смог. Его схватили за голову, пригнули, один бил снизу по лицу, другой бил в живот, а сзади девка, коротконогая, коренастая била человека промеж расставленных ног носком лакированной туфельки.

Я растерялся и закричал что-то вроде: «Как вам не стыдно! Вы женщина!»

Расшвырять их, как флотоводец Игорь, я не умел.

Девка обернулась. Ее лицо, изнутри, как китайский фонарик, освещенное яростью, в естественном состоянии было, вероятно, красивым.

— Он мому мужу зуб выбил! Зуб выбил, зуб выбил! — орала мне эта золотоволосая, высоколобая, грудастая западносибирская валькирия.

Тут ко мне рванулся один из четверки; я запомнил русые кудри и заледенелые от бешенства голубые глаза.

— Он мне зуб выбил! — я понял, что близится моя пора ходить с выбитым зубом.

— Юрий Александрович! Идите сюда! Ну их к черту! — позвал меня Игорь, присоединившийся к прочим зрителям.

Но почему-то я не мог уйти от голубых волчьих глаз, направленных на меня, как двустволка. Я растерянно сказал:

— Вы же его убьете!

— Убьем! — заорал парень с яростной радостью.

Губа у него была разбита в кровь, шапка из дорогого меха сбилась набок, поролоновая курточка расстегнулась, виден был снежно-белый воротник рубашки со сбившимся галстуком. Он рванулся было ко мне, но его за руку схватила жена. Тот, которого вчетвером били, опять чуть было не вывернулся от них; забыв обо мне, эти все на него навалились, свалили наземь, человек скорчился, закрывая лицо, — и тут наступил как бы катарсис: пронеслась, отфыркиваясь, толстая офи-

цианткa в высокой короне — белой наколке и крахмальном переднике.

— Платить, кто платить будет! — смело ткнула она рукой в клубок тел передо мною. Клубок неожиданно легко откатился с тротуара в темноту. Толстая официантка, пыхтя, каким-то странным бегом, не разгибая колен, бросилась в дом напротив.

— Юрий Александрович! — кричали мне. — Все в порядке. Милиция придет!

На другой стороне узкой улицы, метрах в двадцати от драки, находилось городское управление милиции. Окна там были освещены, и стая пустых милицейских машин стояла у входа.

Милиционеры в Рубцовске, видно, были люди ко всему привыкшие, смирные, и драка рядом с ними не мешала им тихо коротать вечернее дежурство.

— Сейчас они выйдут, — объяснил мне директор театра. — Официантка побежала, заявит, что по счету не заплатили. Тут уж милиции не выйти нельзя: государству ущерб.

— А так бы не вышли?

— Тут драк не оберешься, на всякую выходить. С меня пыжиковую шапку недавно сорвали. Я на пленуме горсовета пожаловался начальнику милиции. «Эх, — говорит он, — что шапка! На меня неделю назад разбойное нападение учинили вечером. В гражданском был. Сам еле убежал!»

— И он ничего потом не сделал?

— Что сделаешь? Себе же про себя как пострадавшего заявление подавать? — пожал плечами директор театра. — Конечно, если кто из тех попадется, он тому припо-о-о-мнит!

Решительно ничего обнадеживающего раскаты этого «о-о» человеку не сулили.

Тем временем мы были уже у гостиницы «Колос», где квартировали.

Официантка пропыхтела мимо нас к рабочему месту в ресторане.

— Всех забрали! — махнула она рукой нам в ответ и добавила, что вчера тут одному зуб выбили, а сегодня этот, с выбитым зубом, явился со своей компанией, чтоб тому, выбивальщику, который с дружками опять пришел в ресторан, выбить зуб за зуб.

Библейская простота!

Тем временем на гостинице «Колос» над нами и надо всем малорослым деревянным городским центром светилась неоновая надпись: «Шагом уверенным следом за Лениным».

Стоило или нет в Рубцовске показывать «Бешеные деньги» Островского двадцати пяти из двухсот тысяч?

Или в Москве писать «самиздатскую» прозу для десятка желающих из 250 миллионов, учитывая при этом, что органы безопасности могут вознаградить писателя из расчета день концлагеря (или ссылки) за одну страницу (или строку)?

То ли здесь же в Рубцовске, то ли в другом каком-то сибирском городке у нас с Игорем и произошел разговор об эмиграции. Приметой города, т. е. этого разговора, было большое окно в нашем номере, которое аккуратно отрезало кусок насквозь пропитанной мокредью темно-серой крыши на фоне белесого насморочного неба.

— Пьянь, нищета, сволота, а представить невозможно, чтобы совсем уехать отсюда . . . — сказал Игорь. — Чем же она так сердце прихватывает?

Между тем прадед Игоря, швейцарец, гражданин кантона Ури не по капризу, как наш Ставрогин, а по длинному ряду предков, тоже вряд ли смог бы себе представить, что его внук окажется флотским офицером сперва императорской, а потом советской державы, а правнук, тоже бывший флотский, ни на какое голубое Фирвальдштетское озеро не захочет сменить бурую осеннюю Оку под Тарусой.

Но что, кроме убожества человеческого воображения, все это доказывает?

... И было никуда не деться.
И только эта нищета
Тоской прихватывала сердце,
И только эта сволота,
Глаза за пьяной поволокой, —
Была моей судьбой жестокой
И смыслом моего креста.

У Игоря, чьи слова я в стихах пересказал, не было ни этого преувеличивавшего все «только», ни мрачных предчувствий.

Но собственно «гвоздь» его слов я передал, а в этом острие все дело: зацепило и не пускает ...

Воробьиные песни

Цикл стихов

1. ВМЕСТО ПОСВЯЩЕНИЯ

Никто нигде не ждет стихов,
А ждут давно —
С тех войн, с тех пор
То голубей, то самолетов,
Военного приказа ждут,
Друзей, которые идут
И не приходят отчего-то...

Но есть на свете ты и я,
И плен, и прелесть бытия, —
Откуда это, я не знаю.
Но далеко не так проста
Ладонь кленового листа
И вся его судьба лесная.

И, может быть, не в том ответ,
Что искру Божью прах отверг
Как бесполезную для дела,
А в том, что все-таки она,
Хотя отпором взметена,
Но от земли не отлетела!

1972 г.

***

2. ВОРОБЬИНАЯ ПЕСНЯ

Генералы — особые люди.
Генералы — орудия силы.
Генералы идут тяжело по асфальту
И топчут свои могилы
Гранитными подметками сапог,
Потому что так решил
сам Бог!
А ты, взъерошенный, нищий,
Воробушек, перышки дыбом,
Чего ты снуешь, чего ищешь
На подножии пьедестала,
Среди голубиного помета,
Следов голубиного полета?
Ты клювиком стучишь, просишь просо, —
Но в ответ не прогудит тебе бронза.
Ты ножками сучишь, просишь правды,
А в ответ: «Опять чирикаешь, падло?»
А кругом то купола, то лампады,
Словно лопасти и крылья — лампасы,
И сияющие алые звезды,
И Креста Христова ржавые гвозди,
И тупые, равнодушные морды:
Здесь чириканье выходит из моды.
Мне бы только унести поскорее
Воробьиное имущество — крылья.
Голубь — Дух Святой — живет в Эмпиреях, —
Вдруг по птичьему родству он поможет,
Вдруг серебряным крылом мне помашет,
Даст еще немножко сил для усилья
И куда-нибудь дорогу покажет . . .

1972 г.

**
*

3.

Ах, стать бы мне китайцем,
Сшить синие штаны,
Со всеми объясняться
«Сю-сю» или «хны-хны», —
И стать совсем таким же,
Как и любой другой
Под Китежем, на Ижме
И над Москвой-рекой!
А то ведь нет покоя.
Пора глухой тоски.
Тревога без отбоя.
Сжимаются тиски.
Сдвигаются, сжимаются, —
Кто выскользнет из них,
Летит и ушибается
О камни стран чужих.
А мы проводим времячко,
Имеем интерес
Весь вечер лускать семечки
Про обыск и арест.
И все давно рассказано,
И ясно — что куда,
А петля не развязана.
И новая беда.
А друг-китаец сетует,
Советует, жует.
Про всё перебеседует
И всех переживет.
Дай, Боже, сил не сделаться
Китайцем средних лет
И помоги надеяться,
Пока надежды нет!

1972 г.

**
*

4. О ТЩЕТЕ НАШИХ УСИЛИЙ

Между Сциллой и Харибдой
Хитроумный Одиссей
Должен был найти маневр,
Какого не было хитрей,
Потому что только так решили боги
И не дали моряку другой дороги.
Сцилла смотрит: «Вон кораблик!»
Харибда видит: «Одиссей!
Будет он хитрить, петлять и очень скоро
Попадется в когти, в зубы, и на мыло, и в кандей, —
А что останется — на завтрак прокурору!»
Завопить бы: «Пожалейте! Пенелопа дома ждет,
Сын остался . . . Я не сам плыву, поверьте —
Так судьба меня несет!» . . .
А Сцилла подалась вперед,
И надо плыть, как против ветра, против смерти . . .
И Одиссей помчался прямо.
Никуда он не свернул.
Ждали чудища коварного движенья,
А он все мчался посредине, напрямик —
И ускользнул
За счет отсутствия у них воображенья.
А потом его корабль
Молнией сожгло в пути.
Плот разбило.
Все сошлось темно и грозно.
Но он с такою силой жил,
Такое смог перенести,
Что нашел другой корабль
И путь по звездам!
И он вернулся на Итаку.
Все свое себе добыл.
Жил и умер.
И никто по нем не плачет.

Если ты на свете не был,
Когда я на свете был, —
Сам попробуй, и поймешь,
Что это значит!

1972 г.

**
*

5. СТИХИ ВСЛЕД

А. С. Вольпину

Он ходит по Риму,
А я — по Москве.
Он строит на камне.
А я — на песке.
И все мое — канет,
И все мое — мимо,
И все мое держится
На волоске.

Но даже кленовый листок на лету —
И тот оставляет воде
Отраженье
И может напомнить звезде
О движенье
С небесных высот
В никуда,
В пустоту.

И если сорвется,
Как лист, полетит
Вся жизнь моя прочь —
В неизбежность, в забвенье,

Дай Бог мне не гнаться
За собственной тенью,
За всем, что попутно
Полет воплотит.

1972 г.

**
*

6. ПУТЕВАЯ ЗАРИСОВКА

А что там было?
Грязь и тьма.
Простор. Тщедушные деревья.
Как у кочевников — кочевья,
Так у насельников — дома.
Повсюду лужи. Хода нет.
Мальчишки там плоты гоняли.
Цвет ветоши, мышиный цвет,
Как будто полусвет в подвале,
Господствовал везде. Забор,
Стена бревенчатого дома, —
Все было серым, словно сор,
Косым и ломким, как солома.
А рядом был большой завод.
Он хрипло звался «Запсибмашем».
Дышал он прямо в небосвод
И в небе будущее наше
Клубами дыма начертал.
И было никуда не деться.
И только эта нищета
Тоской прихватывала сердце,
И только эта сволота,

Глаза за пьяной поволокой, —
Была моей судьбой жестокой
И смыслом моего креста.

1973 г.

**
*

7. И ВСЕ РАВНО НИ НА ОДНО МГНОВЕНЬЕ...

И все равно ни на одно мгновенье
Нельзя забыть, что горы и моря —
Создания такого вдохновенья,
Что перед ним трепещет плоть моя.
И не поймет она и не услышит,
Стремясь спастись от боли и беды,
Того, что в ней сердцебиеньем дышит,
Похожим на мерцание звезды...

1972 г.

**
*

8.

Хочет Даниил-Заточник,
Чтобы стали дни короче,
Чтобы день прошел скорей
От решеток до дверей...
Почему же я тоскую,
Умышляю наперед,
Словно день прошел впустую,
А ведь он еще идет!

День, приговоренный к казни,
Оцененный ни во что,
Отчего же он не праздник,
Где в нем солнце не взошло?
Вон оно, проходит мимо,
Солнце лета моего.
Ветви сосен черным нимбом
Сомкнуты вокруг него.
А кругом — морской, небесный,
Луговой, лесной простор.
Меж собою им не тесно
С тех времен и до сих пор.
Отчего же эта жажда
Видеть завтра поскорей,
Словно день отмерен каждый
От решеток до дверей?

1971 г.

**
*

9.

Как будто грязная и нищенская флейта,
Коровья дудка у пьянчужки-пастушка . . .
Когда нет песенки во мне, —
Все криво, клейко
И липнет время к пустяку от пустяка.
Тогда я чувствую всю грязь и хрупкость мира,
Всего того, что так люблю и так терплю,
Всего того, что так отравлено и мило,
И самого себя куда-то тороплю.
Когда же песенка
По капелькам сольется,
То все легко, и все светло
И решено, —

И что-то странное
Затеется, забьется,
Словно вода
Вдруг превращается в вино . . .
Ну что ж, — да здравствует счастливая свобода
Звучаньем слитным прозвенеть и полететь,
Как будто рощам и лесам, домам, соборам
Не суждено ни опустеть, ни поредеть . . .

1971 г.

**
*

10. ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В ДВАДЦАТОМ ГОДУ

А чем я лучше тех,
Кто пал в Овидиополе,
Кого тогда ухлопали,
Убили, утоптали?
И у кого спросить?
У поля и у тополя?
У пьяных писарей
В военном трибунале?
Все кончено давно —
И красные, и белые,
И петроградских беженок
Растаяли тела.
Черным — черно,
Белым — бело,
И ничего не сделаешь:
Молебен отслужили,
И конница ушла . . .
О Господи, прости!
Россия, боль, тоска моя,

Ты каждый день живешь,
Тоскуешь, пьешь, поёшь, —
Так неужели ты —
Проклятая, та самая,
Что собственных детей —
За горло и под нож?
И это — как ожог.
И с этим мне не справиться.
Для этой вечной памяти
Нет вечного огня.
А тот, кто хочет жить,
Чтобы потом состариться, —
Пусть будет прав и счастлив.
Но только без меня.

1972 г.

**
*

11.

Вот вам — «быть иль не быть»,
Вот отрава:
Соблазн и отрада!
Потому что «любить» —
Это хуже, чем смерть из засады:
Сквозь тебя проросло,
Просквозило, связало, скрутило . . .
Где добро и где зло?
Где ты сам? Где надежда и сила?
Все в любимом, в другом,
В дорогом и единственном, в этом, —
Все вовне, только в нем,
Мрак повсюду без этого света . . .
Вот китайская жизнь!
Как бамбук прорастает сквозь тело.
И не рвись, не проказь:

Все равно ты пронзен и приделан.
Кто же я? Я один?
Раб? Кусок чьей-то жизни и плоти?
Я готов, Господин.
Но уж если я раб,
То Господен!

1973 г.

**
*

12. ШУТКА

Ваше Высочество — одиночество.
Ваше Величество — единенье.
— Ваше Высочество,
Мне очень хочется
К Его Величеству приглашенья!

1971 г.

**
*

13. ДВА ГОЛОСА

— Плыви, доверясь Аквилону,
А если зашумит Борей,
То пусть легко и окрыленно
Летит ладья к судьбе своей!
— Но в бездне мертвой, черной, дымной,
В осклизлых, спутанных снастях
Не будет ни надежды дивной,
Ни вести о моих страстях,
Где и победы, и паденья,
Где было все, чем жизнь жива.

Рассеются мои виденья
И промолчат мои слова.
— А ты доверься Аквилону,
А если зашумит Борей,
Пускай легко и окрыленно
Летит ладья к судьбе своей!
Надежда все твое отнимет.
И все свое земля возьмет.
Но искру Божью прах — отринет,
А вихрь нездешний — вознесет.

1972 г.

**
*

14.

Россия, родина, загадка,
Она вериги и венец.
И тут не горько и не сладко,
А тут начало и конец...

1969 г.

**
*

15. ПЕТЕРБУРГ

Город стоит на высоких шпилях,
Весь на колоннах — таких прямых,
Как будто люди не сами жили,
А сторожами были при них.
Я говорю о высоком чуде,
О странном чуде, когда опять
Было, как было, и будь, — что будет,
И хочется все это повторять...

Как карусели, кружат колонны
И наплывают, как корабли,
Словно из сказки: кому — короны,
Кому — скитанья и край земли...

1971 г.

**
*

16.

Ты дачник.
Есть все у тебя: и квартира,
И дом, и машина мышиного цвета,
И деньги, и все, чего мне не хватило, —
Все, вплоть до любимых картин и поэтов.
Живешь ты при деле.
При точной науке.
При церкви живешь.
При борьбе. При идее.
А я — на пределе.
А я — при разлуке.
А я — не споспешествую.
Не умею.
Я тоже хотел бы
Быть с кем-то, при ком-то,
Чтоб общей волной и меня выносило...
Но мне отдаленный мерещится контур
Постройки, которая мне не под силу.
Она — словно исповедь в образе храма,
А может быть — радуга в облаке дыма,
А может быть — просто бездонная яма,
Заполнить которую необходимо.
И я тороплюсь. Я обязан добиться.
И все на своем основать и поставить.

А в небе летят перелетные птицы.
Я должен кого-нибудь с этим поздравить!
Но мне предстоит данаидина бочка,
Проклятая тачка,
Безмозглое эхо . . .
Ты — дачник-удачник.
А я — одиночка.
Тебе не дано
Одиночество это.

1971 г.

**
*

17. ЭМИГРАНТ

Я-то думал: эмигрант —
Одиночество такое,
Твердое, как адамант,
И чего-нибудь да стоит
Байроновский плащ и взгляд!
Эмигрант — исконный гранд.
Пусть он нищ и неприкаян,
Но живет в нем честь гвардейца,
Он — как драгоценный камень,
Не желающий владельца!
Но недавно довелось мне
Видеть это в старике.
Убедившись в благородстве
Белой кости,
Я заметил: он обкатан,
Словно камушек в реке —
И ни байроновской гордости,
Ни злости!
Был он сдержан и любезен.
Так сдающийся внаем
Дом

Открыт чужим несчастьям и успехам.
Все же грани эмигранта
Под конец сверкнули в нем:
— Уезжаю, как и в двадцать лет уехал.
Я хотел его спросить . . .
А он ответил на вопрос:
— Часто встреча продолжает расставанье.
Я хотел ему сказать . . .
Он на это произнес:
— Мне пора. Спокойной ночи. До свиданья.
Унесла его машина
Прочь, в гостиницу «Россия»,
А другая уведет за облака
И, как бабочка-капустница,
Куда-нибудь опустится . . .
Пошлю ему привет издалека!

1972 г.

**
*

18.

. . . И мысль о смерти мне отрадна . . .
Ну что за . . . Господи прости!
Живется мне легко и ладно
Не в Лондоне, а на Руси.
Работается через силу.
Жена больна и денег нет.
Но ведь от этого в могилу
Какой же уходил поэт?
Нужны трагедии и драмы,
Сибирь, жандармы, кандалы, —
А это ж, господа и дамы,
Вполне уютные углы!

Простая бешеная спешка:
Спешу из слов кроить и шить,
И некогда поставить свечку
За то, что продолжаю жить.

1970—1972 гг.

**
*

19. АВТОШАРЖ

. . . Сам же себя полюби беспредельно . .
Из Брюсовских заветов поэту.

Надо, чтоб меня любили,
А чтоб я любил не очень.
Надо, чтоб ко мне ходили, —
Я ходил бы между прочим.
Надо, чтобы умоляли
Следовать меня призванью.
Надо, чтобы умирали
Лишь по моему желанью.
Вот тогда на трон я сяду
И прореху расстегну,
И воскликну: «Так и надо
Людям, этому говну!»

1972 г.

**
*

20. САТИРА НА НАШИХ МЕЩАН

Профессор или слесарь,
Писатель или врач,
Без веса или с весом,
А все равно хоть плачь!
То небо штурмовали,
То падали на дно,
То шумно выбирали
Из одного — одно...
Пережигали в уголь.
Сгноили. Упекли.
Искали пятый угол.
Под корень извели...
Морочило, мололо,
Выламывало так,
Словно на Русь монгола
Навёл заклятый враг!
А между прочим сами
Крутили колесо:
Калечили-кромсали,
Чтоб только пронесло!
Но все теперь иначе:
Кто накопил — купил.
Как много это значит
Среди родных могил!
Как много в этом слове:
«Купить», а не «отнять»!
— Товарищ, сколько стоит?
— Давай, товарищ, пять!
На этом и увязнут
Истории клыки:
Все мелкобуржуазны
И все — большевики.

1971—1972 гг.

***

21. КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА В КОНЦЛАГЕРЕ

А лагерники слушали Бетховена,
А лагерники Баха тоже слушали,
Еще когда огрызков от морковинок
Из банок из помоечных не кушали,
Еще когда профессорами были,
Еще когда очки свои носили
Не на веревочках — на дужках золотых
И ничего не знали про блатных.

Хоралы, как готические залы,
Просторные и светлые хоралы,
Зачем ты их построил, человек,
Зачем их вывел босиком на снег?

И вот стоят артисты и поэты
В своих хоралах светлых и стихах,
Как в балахоны смертные одеты,
Как в рубища из света и стекла.
Ни от чего они не защитили,
А только в лагерь смертный затащили,
Где смерть не благородна и тиха,
Не как в учебниках благообразна,
А как у мучеников безобразна.
Она — как судороги червяка . . .
А там, на воле, кушатели вежливые, —
У них и челюсти-то как у насекомых! —
Сидят и слушают. Пока еще не вешатели:
У них — пока — повесили знакомых.

И я хочу писать стихи во благо.
Солдатом и судьей хочу я быть.
Я не хочу, чтобы сиротка плакал,
Но я его отца хочу убить.

О, музыка! Меня соедини,
Скрипичным взлетом, по кривой звучанья
Веди к тому мгновению молчанья,
Когда у гроба мы совсем одни,
Стоим одни.
И каждый замолчал,
Как может замолчать ручья журчанье.
А мертвый лик желтел и излучал
Безмерное, бездонное молчанье.
Я всею кожей впитывал его,
Огромного молчанья облученье . . .
О, это обнаженное мгновенье!
Как будто завершение всего . . .
В нем сходятся, как в заостренье шпиля,
Года и горы, города в дыму, —
Все то, что мы могли, все то, чем были . . .
О, музыка, веди меня к нему,
Дай мне его вдохнуть и замереть . . .

1967—1971 гг.

**
*

22. БОГ И ДЬЯВОЛ

Был дьявол памятником бронзовым.
Высок и прочен пьедестал.
А Бог какой-то травкой бросовой
В соседней луже прорастал.
А дьявол был кормою сломанной,
Он закружил водоворот.
А Бог был малою соломиной
И верой, что она спасет.
А дьявол был простертой дланью:

— Живи! И действовать спеши!
А Бог — сомненьем,
Колебаньем,
Землетрясением души.

1970—1978 гг.

**
*

23. НОВОГОДНИЙ СОНЕТ

Посвящается Ире Кристи.

Все окончится этим же самым
Неделимым сегодняшним днем,
Но мешает нам помнить о нем
То, что тюрьмы, и цирки, и храмы,
И оконные зимние рамы,
Все, что видим и в руки берем,
Было прежде и будет потом.
И разумно, устало, упрямо
Мы считаем вперед и назад,
Существуя вне чисел и дат,
В неподвижном, всегдашнем мгновенье,
Что все время течет без движенья
Ниоткуда, сквозь нас, в никуда —
Словно в сказках живая вода.

1973 г.

**
*

24. СТИХИ ДОЧЕРИ

Жизнь — словно легкая снежинка,
Мы с губ ее спешим слизнуть,
И снова вдаль, и дальше в путь . . .
Но вдруг снежинка — как слезинка:
Мы так мечтали! Так любили!
Но все давно про нас забыли.
А ты про это не забудь!
Что достается человеку?
Что остается от него?
Вторая половина века
Обрушилась на одного
Лавиной снегопадов зимних,
Весенних гроз, осенних ливней,
Тревог, и радостей, и бед, —
И наше время так похоже,
На то, где тосковал поэт,
Что он до лучшего не дожил,
До наших дней не дотянул,
В земле, как в Лете, утонул . . .
Увы, всегда бывает так.
Но есть прекрасное «однажды».
Оно — как капля на губах,
Как дождь, спасающий от жажды.
Однажды — дятел на сосне.
Однажды — чайка над волнами.
Однажды — каждый сон во сне
И все, что происходит с нами.
Хотя однажды — как назло! —
Поэту так не повезло . . .
Зато при жизни с ним случалось
Такое, что ни с кем, нигде . . .
То муза на чердак стучалась,
То просыпался на звезде . . .

И как связующая нить,
От человека остается
То, что ни в ком не узнается,
Чего уже не может быть...

1973 г.

**
*

25.

Обстругивая строчки,
Как ножичком,
Отчаяньем,
Легко порезать пальцы:
Ведь не видать ни зги!
Одни друзья — в отсидке,
Другие — вдаль отчалили,
Спокойные примерились,
А прочие — враги.
И я хожу гуляю
По русским Пропилеям,
Киваю вольнодумцам
Былым издалека.
Хоть петлю, кажется, и мне
Накинули на шею,
Но сверху за веревку
Не дернули пока!
Не знаю, сколько протяну
На этих проволочках.
Но поднял Медный всадник
Россию на дыбы, —
И не держался конь его
На двух опорных точках.

И конь оперся на змею.
Вот присказка судьбы!
Дорическая стройность!
Стоическая школа!
Зато умершим в тюрьмах
Не нужно саван шить.
А что это такое —
Крамольник без крамолы,
Наверно, очень трудно
И в Лондоне решить.
И я хожу гуляю
По русским Пропилеям,
Былые вольнодумцы
Приветствуют меня.
Старинной дружбой с ними
Я только и владею
И не могу сулить я
Полцарства за коня...

1972 г.

**
*

26. ИЗ ПИСЬМА И. КРИСТИ

Смерть наступает не затем,
Что плоть — во тлен,
А дух — из тлена.
Жизнь вовсе не подобье плена,
А продолженье перемен.

Когда, как пьяница, судьба
Все расшибает, что попало,
И ты пропал, и все пропало,
И нету Божьего суда

И справедливости, в которой
Могла б найти себе опору
Надежда, замершая вдруг,
Как в дверь неотпертую стук
(Он замирает так же точно,
Как замирает пульс в больном,
Как безнадежно и бессрочно
Умерший покидает дом) —
Тогда нам остается чистый
Смысл одиночества. Оно
Не смягчено участьем близких,
А до корней обнажено.
И оскорбительно участье
Друзей, чей виноватый вид
Лишь о желании умаслить
Чужое горе говорит.
И только это, только это
Способно с нами умереть:
Смысл одиночества.
А свету
Как прежде — и светить, и греть!
И птицам петь. И листьям падать.
И жить друзьям. И быть судьбе.
Лишь одиночеству не надо
Чужого требовать себе!

А память воскресает тут же
И голос, и глаза, и жест.
Затягивается все туже,
И помнить ей не надоест.
А память по живому режет,
Свершая злые чудеса.
Смысл одиночества — все те же
Глаза, могилы, голоса.
Смысл одиночества все тот же:
Господен гнев и мертвый Рим . . .

Смысл одиночества не может
Остаться лишь собой самим...

1973 г.

**
*

27. ОТЩЕПЕНСТВО

...А мне все время говорят,
Что я кому-то должен.
Живу бессвязно, невпопад...
Ломается строка...
До сорока трех лет пока
Я дотянулся, дожил,
Но это уж который год, —
А все «пока».
Пока! —
Прощание такое есть.
Ограниченье срока...
Ах, стать бы не «таким-сяким», —
Устойчивым, своим!
А то все время на весу,
А подо мной глубоко,
А рядом плотные плывут,
Надежные слои:
Профессора, певцы, пловцы,
Все прочие актеры,
Которым страшно жить в долгах,
Они свели концы.
Объединил их трезвый взгляд.
У них свои конторы.
У них свои моторы, шоры,
Боги, мудрецы!
Пускай господь меня простит

За кривизну такую,
Что я в усилии своем бессилен и нелеп,
Что среди них тоскую я,
Толкусь — и им толкую:
«Купите песенку мою,
Подайте ей на хлеб!
Земля под каблуком ничья —
А что на место встало?
Земля под каблуком прочна —
Шагнул, и все пропало.
Какой же смысл, в конце концов,
Нам забывать об этом?
О чем мы спросим мудрецов
Или своих поэтов?»
Но тут помалкивают все.
Смешны мои усилья.
Когда у белки в колесе
Вдруг отрастали крылья?
За то, что жил я ни при ком,
Я стал всеобщим должником.
Прости, Господь, и помоги:
Оставь при мне мои долги!

1971 г.

**
*

28. ИЗ «КНИГИ СЛУЧАЙНОСТИ»

I. Ранняя оттепель

Великолепный весенний день
Посреди зимы.
— Какое солнце! Какое небо! —
Твердили мы.

Блестят проталины зеркалами.
Но каждый знал:
Похолодеет над головами
Голубизна.
И все, что начало
В мире таять с таким трудом,
Вновь станет холодом,
Станет инеем,
Станет льдом.
И вот все кончено.
Все как надо.
Весна не в счет.
Лед на околице,
Лед на улице,
Всюду — лед . . .

**
*

II. Дни простых ремесел

В войну настали дни простых ремесел,
Совсем простых, полузабытых, древних.
Они пришли ограбить и забросить,
Как бабы приходили из деревни,
Пришли и обступили горожанина.
А я тогда сидел у полки книжной.
А у соседа вкусно пахло жареным.
А я там был непрошеным и лишним.
Соседа в гости звали инженеры,
Врачи и знаменитый академик.
Он приходил в оборванной шинели,
Клал печки. И не брал за это денег.
Как Бог, он получал за это жертвами.
Он брал жратву: картошку, хлеб и сало.
Хотя их всех с семейством было четверо,
Но иногда и мне перепадало.

Тогда он говорил слова такие:
— Вот ты, парнишка, печки не построишь.
Пришли, парнишка, времена лихие.
А ты без рук. И ничего не стоишь.
Но стоил я — да стоит ли подсчитывать? —
Различных книжек, до войны прочитанных.
И я читал великого поэта
И всех героев мерил по себе:
Был сыт Ромео и сыта Джульетта.
И это
Утешало в их судьбе.
Мне Бог ремесел правильно советовал.
И я к нему учиться поступил.
Но с той поры, как времени вот этого,
Я тех ремесел гордых не любил.

1962 г.

***

III. Весна в Донском монастыре

Сквозь прозрачные зеленые просветы
Самой первой, самой солнечной листвы
Купола — как облака. И против ветра
Золочеными ковчегами кресты . . .
Все плывет не очень медленно, не быстро.
Но куда-то нужно девушкам успеть.
Они легкие и нежные, как листья,
Не успевшие от солнца огрубеть.
Пробежали, словно ветер по вершинам,
И исчезли, словно шорох, прошумев . . .
Жили — не жили,
Грешили — не грешили,
Все утонет, точно в тине, в тишине . . .
И увидел я кресты над изголовьем,

И кресты, что над вершинами плывут,
Не ошибкою, а сказочным присловьем:
Где-то люди жили-были
И живут . . .
Это все легко, как птица,
И родится
Рядом с нами прозвенеть и умереть,
И не может это вечное отлиться
В нашу вечную, натруженную медь.
А кресты над куполами близко к облаку,
Словно к берегу . . .
Зачем она нужна,
Жизнь без радости, без тела и без облика?
Под «плитою сей» давно не спит княжна!
Все расстались.
Всё распалось и растаяло.
Всё как луч.
И словно след луча,
Жизнь одно словечко нам оставила,
Черное, как семечко:
Ничья.

❦

IV. Музей до открытия

Наполнен светом, как аквариум,
Музея выставочный зал.
Сквозь потолок стеклянный заревом
Рассвет по золоту мерцал.
И голубою позолотою
Отсвечивая по краям,
Еще картины не работали,
Со стен не обращались к нам.

Они висели, кем-то созданы,
У крыш и веток на виду
С камнями, птицами и звездами,
Со всем, что есть,
В одном ряду . . .

**
*

V. Преображение

. . . А надо всем была заря,
Как полынья с водою красной,
Светящейся куда-то внутрь . . .
Теперь цвета лежали рядом,
Отслаивались по контрасту,
Чтобы потом совсем уснуть,
И слиться, потеряться, сгинуть,
Как будто торопился мир
Все краски, как одежду, скинуть,
И оказаться черным, голым,
Бесспорным и совсем простым . . .
Куда он делся, белый голубь?
А голубя и след простыл.
А голубь спит. Ведь солнце село.
Он будет белым на заре.
И я иду по листьям серым,
По листьям, словно по золе . . .

**
*

29.

Бог отнимает.
Бог дает.
Сейчас или тогда,
Но человек возьмет свое
Или найдет чужое.
И не могу я подождать
До Страшного Суда:
Я отдыхаю на земле
От вечного покоя.
И я живу, и я люблю,
И сам не зная, как,
Оказываюсь на виду
Во время перестрелок.
Против меня незримый строй,
За ним — тяжелый танк,
А надо всем дивизион
Летающих тарелок.
А где-нибудь сидит абрек
Осман-Иван-паша
И ждет, чтоб сдался я
Ему на милость.
Вся жизнь висит на кончике
Его карандаша,
А может быть, упала и разбилась.
И я еще не знаю сам,
Что сделали со мной,
Что я уже разбит в куски,
Уже на свалку списан...
Но все равно, — пока живу,
Пока не стал золой,
Осталась жизнь моя полна
Необъяснимым смыслом!
И в то мгновение, когда
Не будет ничего —
Ни слез, ни жизни, ни любви,

Ни этого мгновенья,
Я знаю:
Все мое опять
Пришло и началось,
Как начинает слово «Бог»
Мое стихотворенье!

1972 г.

**
*

30.

Есть у стихов достоинство и честь,
Когда стихи не вымысел, а весть.
Тогда стихи не слышатся легко:
В них слово плотно, как земля, легло.
Зато они — опора для меня,
Как дом в огне — опора для огня.
Пусть без остатка выгорит в словах
Все то, что в них — ничтожество и страх,
Все то, что в них — тщета и суета,
Убранство храма,
А не смысл креста.

1972 г.

**
*

31. ТРИ ФОТОГРАФИИ НАД МОИМ СТОЛОМ

— Христос воскрес!
— Христос воскрес! —
Повсюду говорят.
Но он воскрес-то как солдат:
В бронзе,
В камне!
Три Христа над столом у меня висят.
А во дворе стучит в костяшки
Ванька-Каин.
— Слушай, Ванька распрекрасный,
Грозный красный богатырь,
Ты кончай свои игрушки —
Вышло время!
А он мне говорит на это:
— В рот тебе штырь!
Знаем вас, часовщиков, —
Все евреи!
А потом приходит смерть
И берет за горло.
Из грудной опавшей клетки
Вырывает вдох,
Как цветочек из земли, —
Напрочь, с корнем.
И лежит, пустой, как яма,
Мертвый Бог . . .
Потому один Христос на фото —
В травах.
Искривился, весь железный,
На своем кресте.
Он не тлеет.
Он ржавеет.
Боги правы:

Человек с его бессмертьем —
Раб везде.
Но зато второй Христос
Весь гранитный.
Нет как нет за ним бессмертья —
Позади стена.
Руки вытянув по швам —
Так стоит он.
Чашу за здоровье наше
Пьет до дна.
Третий мой Христос
Разинул рот, как рыба.
И безумье в деревянных
У него глазах.
Ванька-Каин его бьет,
Ухмыляясь криво:
— Что под пыткою ты мне доказал?
И глядят все три Христа
Друг на друга.
Все по-своему глядят
На себя.
Быть собою не легко
И не трудно:
Быть собою —
Это Бог и судьба.
И когда я балансирую между
Смертной горечью, тюрьмой и сумой —
То ли сам я выбираю надежду,
То ли чудо происходит со мной.

1962—1972 гг.

**
*

32. ПОСВЯЩЕНИЕ

. . . А я с самим собой играю,
Пережигаю жизнь свою
В стихи, которые, как пепел,
Развеялись в моем краю.
И с выжженною сердцевиной,
Как дудочка, вся жизнь моя.
Она звучит — не отвечает,
А кто на самом деле я?
Порой за водкой и закуской
Мне кто-то говорит: поэт.
Другой за водкой и закуской
На это отвечает: нет.
Плохой поэт. Такой поэтик,
Как будто воробей поет.
Мне одному на целом свете
Моих стихов недостает.
О Господи, позволь отныне,
Пока я здесь, живу пока,
Мне вознестись в своей гордыне
Туда, к Тебе, за облака!
Как дым, надмясь,
Как дух, вздымаясь,
Молю Тебя: дай силы мне
Своею песней, Адонаи,
Побыть с Тобой наедине.
Прими ее, мое творенье,
Прими, как принимаешь Ты
Проросшие под спудом зерна
И некрасивые цветы!

**
*

О стихах и событиях

ГОД ПЕЧАЛИ

Цикл стихов «Високосный год», давший название всей книге, посвящен, как и вся она, светлой памяти моего друга Григория Подъяпольского, во многих отношениях замечательного человека.

Об обстоятельствах его смерти я хочу рассказать.

Перед последним партийным съездом, весной 1976 г., моего друга отправили в Саратов, в командировку. Таких, как он, перед всякими торжественными государственными событиями нередко отправляли в командировки из столицы прочь. Понятие «такие, как он» требует, разумеется, пояснения.

Дать его очень трудно.

Западные газеты называли таких «диссидентами», советские — «отщепенцами».

Сами же эти люди называют и называли себя по фамилии-имени-отчеству, очерчивая интересующий их круг юридических, нравственных или философских проблем каждый по-своему.

Я со своей стороны воздержусь в данном случае от определения: определить — значит ограничить; а в нашем несовершенном мире и так ограничивают, порой даже до смерти, тех, кто полагает, будто человек имеет право спорить со своим государством, государство же обязано в ответ терпеть упреки, с которыми не согласно, — терпеть, несмотря на то, что оно сильнее одного человека в двести пятьдесят миллионов, а то и в целый миллиард раз.

Одно только ощущение массовой нависающей силы создает для упрямого спорщика перегрузку не меньшую, чем при взлете космического корабля.

А тут еще командировка — знак внимания тайных и могущественных почитателей — и разговор в купе...

Сотоварищами Подъяпольского по командировке были обыкновенные геологи, не какой-нибудь там специальный конвой; командировка-то сама по себе была деловая, просто она могла состояться раньше или позже, а не в самый канун События . . . Но, возможно, интересы Учреждения требовали именно этой даты?

Не знаю.

Все может быть в нашем сказочном мире.

Сам Гриша считал, что сроки командировки были со стороны подсказаны его учреждению, которое, уподобясь двоечнику, боящемуся получить единицу, с этой подсказкой поспешно согласилось.

Я подчеркиваю, что спутники Гриши были славные, простодушные люди, каких, наверно, и в Соединенных Штатах полным-полно.

И легко себе представить, что один из таких — доброжелательный, очень способный в своей научной области молодой человек — спрашивает у своего коллеги, который существенно постарше, зачем этот человек с его умом и жизненным опытом ввязался в совершенно фантастическое дело: борьбу за права людей, которым он своим вмешательством заведомо помочь не в силах. Не то что из тюрем никого не выпустят — даже сроков не сократят!

Впрочем, эти славные, дельные, энергичные парни, всегда вовремя умеющие сказать: «Верно, кругом бардак, — а я-то что могу сделать один?» — не так просты, как может показаться. Они знают свой темп. И когда Бегун на длинные дистанции (об этих Бегунах на длинные дистанции Александр Галич написал целый цикл) рядом с ними бежит не так, готов отстать в карьере, смотрит не на ясную научно-потребительскую цель, а совсем в другую сторону, то Бегуны на дистанции короткие злятся: почему, в самом деле, человек вроде бы умный, рядом с ними живущий, делает все не так? Он что, умней всех? (Они понимают, что если изо «всех» вычесть «таких, как они», то остаток получится столь

малый, что им по всем научным правилам можно пренебречь).

И все-таки в их злобной тревоге, что не все, как все, — моя нищая надежда на нравственный прогресс в международной среде пролетариев умственного труда.

Пусть потом эта завистливая встревоженность оборачивается торжествующим припевом: «Мы ведь ему говорили! А он? Полез на рожон! И вот результат...» Все равно они знают, чье мясо съела полосатая кошка, политическая тюрьма: человеческое. И они это тоже проглотили.

Поэтому нередко в присутствии людей благородных и самоотверженных, людей большого стиля, прагматика охватывает зуд спросить: «Как же это вы? . .» да «Зачем же это вы? . .» Возможно, прагматик испытывает тут болезненный интерес преступника к будущей жертве: как-никак ведь и он частица Левиафана...

Выслушав лаконичный ответ Гриши о борьбе за права человека, его любознательный собеседник не удовлетворился гуманитарными абстракциями, а задал вопрос, вполне резонный для русского деловой европейской складки:

— А не могло случиться так, что вы увлеклись общественной деятельностью, потому что исчерпали себя в науке?

Не ручаюсь за точность формулировки, но, как мне рассказывали, вопрос в этом смысле был задан. Не вполне корректный вопрос, — однако что делать! Дорожная скука брала свое, а партнеров для преферанса не набралось.

Между тем еще за три года до этой поездки в книге Святловского и Силкина «Цунами не будет неожиданным» (Гидрометеоиздат, Ленинград, 1973 г.) авторы писали (стр. 43—44), что Г. С. Подъяпольский сделал очень важный вклад в изучение цунами, что «на международном симпозиуме в Гонулулу был представлен его доклад», имевший не только чисто теоретическое, но и

практическое, прогностическое значение. Безличная, как бы вовсе не касавшаяся Гриши формулировка о его докладе «был представлен» по-научному точна: Гриша не был «выездным», потому его доклад на симпозиуме читал другой человек, закаленный в заграничных поездках товарищ, с полноценной, как наш бумажный рубль, анкетой.

Потом Гришу именно за то, что он «увлекся общественной деятельностью» уволили из института, где он проработал семнадцать лет, возможностей продолжать заниматься на службе проблемой цунами не было, пришлось искать любую работу; вот тут-то, словно в насмешку, и вышла книга, упоминавшая о его научных достижениях. В научно-исследовательском институте, командировавшем его теперь в Саратов, Гришу держали отнюдь не по одному тому, что служба безопасности это разрешила. Подъяпольский был первоклассным специалистом, и его собеседники это знали.

Но нельзя сказать, что стрела пролетела мимо: за последние два-три года мой друг не мог заниматься проблемами цунами достаточно интенсивно; достижения, сделанные в других научных областях, его не удовлетворяли.

Поэтому на вопрос, не исчерпал ли он себя в науке, Гриша, скорее всего, ответил что-нибудь вроде следующего:

— Может быть, я действительно исчерпал себя как ученый. Вам виднее.

Когда Гриша хотел наглухо отгородиться от собеседника, у него появлялась особая интонация иронического согласия: гортанная, чуть в нос, и он при этом вскидывал головой — ни дать, ни взять благородный ростановский шантеклер, всегда готовый крикнуть в любую темноту, что солнышко взойдет во что бы то ни стало.

А его собеседники все любопытствовали и любопытствовали, почему это им и другим таким же живется

в нашем мире более или менее уютно, а вот Подъяпольский буйствует, прямо как экстремист, подписывает всякие протесты, что, мол, здоровых людей сажают в психарни...

— Как это может быть? Экспертизу проводят несколько врачей. У них есть научные консультанты. Наконец, профессора, специалисты из Министерства Здравоохранения, которым передают ваши жалобы... Это же десятки людей, докторов наук, специалистов своего дела! Почему вы думаете, что все они сплотились против вас и обманывают? Ведь вы не медики, что вы в этом понимаете?

— Я лично знаю многих из тех, кого...

— Ну и что же? Ведь вы — не специалист! Как может быть, чтобы все врачи, специалисты, ошибались, а вы, неспециалисты, были правы?

Я думаю, что на Гришу действовала не аргументация, а бодрая непробиваемость: все в мире нормально, если я еще могу штурмовать Пик Коммунизма!

У этих спортивных и полуспортивных парней критерии были прочны, как решетки Бутырской тюрьмы, и орудовали они словами, как опытные альпинисты — ледорубами.

Не может быть, чтобы арестовывали ни в чем не виноватых; не может быть, чтобы осуждали без суда; не может быть, чтобы...

Вдруг оказалось: да, все это было.

Значит б ы л о, б ы л о, но быть-то не может!

Было-сплыло. Как не бывало. Быльем поросло. Кто прошлое помянет, тому глаз вон: вперед надо идти без оглядки!

Разумеется, в ответ Грише ничего подобного не сказали. И вообще разговор велся в чрезвычайно тактичных тонах. Просто Гришу спросили. А он раскипятился. А он взорвался. Его даже затошнило. Даже, кажется, вырвало.

Потом он потерял сознание.

Тошнота и рвота — последняя естественная реакция на таких собеседников; естественная, потому что противно, когда люди, кроме жизненной сласти, ничего, в сущности, знать не хотят (впрочем, это качество особенно разнообразно представлено у людей свободных стран). Эта реакция последняя, ибо наступает, когда никаких сил жить больше не остается с такими соседями по тесному жизненному пространству . . .

Гришины коллеги бережно уложили его на полку; побежали искать врача. Повезло: нашелся невропатолог, сразу же предположивший кровоизлияние в мозг. Он принял меры, какие было возможно.

Зато в Саратове гришина жизнь споткнулась о тупердяйку, врача со скорой помощи. По ее предложению («Ничего, это у вас так, спазм сосудов, все пройдет!») Гриша сам пошел к машине скорой помощи от вагона через весь вокзал. А именно ходить-то ему и не следовало . . .

В больнице врачи попались было доброжелательные, энергичные, — но ничего не помогло.

В ночь с 8 на 9 марта Гриша умер.

У руководства института достало порядочности устроить гражданскую панихиду (ведь покойный был все-таки не только членом Комитета Прав Человека, о чем в официальном некрологе, разумеется, не говорилось, но и выдающимся специалистом, о чем, конечно, было сказано).

Однако во избежание «чего-нибудь» панихида шла бессловесно: в актовом зале, где стоял гроб, играла музыка.

Протолкнуться к гробу было невозможно. За недолгое сравнительно время Гришу успели узнать и полюбить. Несомненное для меня обстоятельство, что большинство всех этих «узнавших и полюбивших» могло бы затеять с Гришей тот же самый дорожный разговор, от которого и меня, боюсь, стошнило бы, — ничего в искренности их симпатий к покойному не меняло. Та-

кие это люди, и не только у нас, повсюду наверное, где «люди как люди» и не более того. Если бы жители Великобритании, к примеру, были существенно повыше этого среднеевропейского духовного уровня, то разве посмела бы полиция их страны мучить арестованных террористов в Ольстере?

Григорий Подъяпольский оставил книгу воспоминаний. Для нее характерна трезвость, отсутствие иллюзий. Но трезвость порой разрушает кровеносную систему быстрей, чем самый буйный алкоголизм. Многомиллионное несогласие с человеком — пусть даже от равнодушия или неведения скорее, чем по злобе — все равно ложится на человека тяжким крестом. Спорить с крестом бесполезно. И передать его некому.

Не потому ли именно в нашей стране, причем даже в сфере ее нынешней официальной культуры, прижился чуть ли не так же, как у себя дома, в Испании, рыцарь печального образа, одинокий и бессильный Дон Кихот?

Мой покойный друг настороженно относился к моему слишком широкому, как ему казалось, толкованию образа Человека из Ламанчи.

И я повторяю: Гриша был отважен, трезв, то, с чем он боролся, можно назвать ветряными мельницами, только если не слушать хруста костей в жерновах.

Он не был Дон Кихотом.

Просто он очень устал.

А в году оказалось не 365, а 366 дней; об этот лишний день жизни среди целенаправленных наших людей мой друг, может быть, и споткнулся . . .

Похороны, как обычно в Москве, происходили как бы в два акта. Сперва — прощание в крематории.

Древняя мудрость языка отнимает одушевленность и у сердца, и у мозга, — это все не к т о, а ч т о. Но все-таки при жизни это неодушевленное само по себе «нечто» было человеку ближе всего другого, человек прежде всего другого в нем жил. С этим и прощаются,

пока не сдвигаются шторы на валиках над люком, куда опускается гроб.

В зале международного Шереметьевского аэропорта одно время были такие же шторы на валиках, тоже в человеческий рост, только не темные, а желтые и расположенные не на полу, горизонтально, а преграждавшие вход в таможенное пространство. Шторы раздвигались — человек исчезал; шторы задвигали. Я хорошо помню, как друг мой, Сережа Мюге, ставший вдруг бледным, как напудренный Пьеро, успел еще махнуть нам «оттуда» рукой. Через эту деталь — сдвигающиеся матерчатые шторы — обряды отъезда и похорон сближались.

Сходство усугублялось еще и тем, что женщины из обслуги крематория одеты в темносинюю униформу со светлыми пуговицами, напоминающую униформу самолетных стюардесс. Да и напутствия, которым обучили этих муниципальных погребальщиц, напоминают аэрофлотовские сентенции: «Рейс восемнадцать семьдесят два окончен. Счастливого пути, товарищи!» — или что-нибудь в этом роде.

— Гражданин Советского Союза Имя рек окончил свой жизненный путь. Начинается обряд прощанья.

Абсурдность этих сближений выражает лишь абсурдность ситуации: вступив туда, за таможенную черту, человек исчезал, словно распылялся; дальше от него приходили только письма . . .

Простой отъезд в другую страну — всего-то два часа полета! — сопоставим у нас с вечной разлукой . . .

Бред!

Зато какие люди!

«Гвозди бы делать из этих людей, не было б в мире крепче гвоздей» (член Всемирного совета Мира поэт Николай Тихонов) для распятия Господа нашего, если бы Он опять явился сюда, вооруженный лишь одними добрыми чудесами.

Сейчас, впрочем, сдвигающихся штор в аэропорту

нет, вход в таможенную зону перестроили, но суть исчезновения осталась прежней.

...Урну с прахом хоронили месяца через два на одном из загородных кладбищ, на участке, где был похоронен гришин тесть. День был весенний, легкий, обрызганный, правда, дождичком, но светлым и свежим, как роса. Вокруг кладбища ограды никакой не было, приметой входа оказалась только куча мусора при дороге: искусственные цветы и листья ржавых венков вперемешку с землей и камнями. Подле кучи валялся череп, обломанный до глазниц. Череп лежал на макушке, глядел отверстой чашей в небо. Рядом к ржавому листику на венке приткнулась берцовая кость.

Какая-то хорошенькая девица интеллигентно ахнула.

— Ничего, — сказал я. — Жилищный кризис. Одни выселяются, другими заселяют.

— Это могилы-то? Как можно!

Один из друзей покойного — не помню уже кто — в конце речи сказал:

— Перед лицом земли, которая нас родила и в которой все мы будем, и я, и мы все клянемся, что будем жить, как он, думать о людях, помогать им...

— Перед лицом Божьим лучше; невместно этак-то человеку: «Перед лицом земли»... — но говорить я ничего не стал.

По белым круглым бокам фаянсовой урны узор: помесь тюльпанов с виноградом, т. е. из цветов как бы тюльпана торчали вроде бы виноградные кисти. Виноград — один из символов Христа. Традиция оказалась сильней антирелигиозного сознания; она подмяла его под себя, придя изнутри: «Как же еще украсить погребальную урну? Естественно, виноградными гроздьями!» — так они и решили, забывчивые атеисты.

Для урны в ногах могилы гришин племянник вырыл яму — этак в три четверти метра глубиной, узкую. Когда урну он туда опустил, в земле раздалось буль-

канье, урчанье: на дне ямы была вешняя вода. Человек урну установил прочнее, стал обкладывать глиной снизу, чтоб прямо стояла, — и тут в земле, как в утробе, заурчало, заворчало в ответ.

Хотелось на этот живой, животный звук не обратить внимания. Но уже когда яму сверху заровняли, — опять в земле что-то вдруг громко и отчетливо забурлило, словно она с усилием заглотнула, наконец, урну.

Когда отошли от могилы прочь, послышалось далекое пение.

— Не в церкви ли поют? — спросили рядом.

Около кладбища была церковь с облезлой высокой белой колокольней. Видно было: неслужащая.

— Так горланят. В армию, небось, провожают.

Нет, пели.

Оказалось, это погребальная процессия. Она была видна издали (на кладбище не было деревьев — одни могильные холмики в оградах да мелкий кустарник). Впереди мужчины несли на полотенцах невысоко над зеленой травкой качающееся и накрытое желтым покрывалом тело в открытом гробу. Мужчины пошатывались, то ли от выпивки, то ли от тяжести, и открытый гроб продольно качался между ними, как очень медленный маятник. Сзади толпа старух в черных платках пела, не разобрать, что. Слышно было только «Смертию смерть поправ», и это повторялось часто, но звучало не на церковный распев, а на какой-то песенный мотив, молодецкий, залихватский. Горланили старухи. А церковно петь уже не могли.

Все на кладбищенском пригорке было скудно, убого. Только светлозеленые луга, уходившие низиною вдаль, жили от этой скудости и бедности отдельно, сами по себе...

Что же и где осталось?

Дух Григория Сергеевича Подъяпольского звался ли «Гришей»?..

**
*

Високосный год

Цикл стихов

1. ВОСЬМОЕ МАРТА 1976 г.

. . . Неожиданно вернулись люди,
бесследно пропавшие . . .

Последняя, недописанная глава
«Воспоминаний»
Григория Подъяпольского.

А дальше оборвалась строчка.
Как будто у струны обрыв.
Беспамятство. И душно. Тошно.
Зияние. Провал. Обрыв.
Внизу лежало все, что было,
Все то, что поросло быльем,
Растаяло, землей заплыло . . .
Оттуда мы цветы берем.
И хлеб, и горечь, и надежды
Оттуда тянутся сюда,
Из тех времен, что были прежде,
И остаются навсегда.
Прощай, мой друг! Прощай навеки!
Твои стихи, твое тепло,
Все, что нетленно в человеке,
От нас с тобою не ушло.
И мы с тобой живем покуда
Во всем, что сделать мы смогли, —
Живем не вымыслом, не чудом,
А просто тем, что не ушли.

Остановившееся время
На зачарованных часах
Осталось навсегда со всеми
В поступках наших и стихах.

1976 г.

**
*

2. ТО ПОХОРОНЫ, ТО ПРОВОДЫ...

То похороны, то проводы.
Кто — в Лету,
А кто — в полет...
К застольям такие поводы
Столетие подает.
Прощайте, друзья — ровесники!
В какую же вы страну
Взбегаете вверх по лесенке?
Окликну и не верну...
А громко я или тихо
Крикну ему или ей,
Услышит ли Эвридика,
Оглянется ли Орфей, —
Но оба вверху исчезнут,
И в небе простынет след...
Окончился век железный.
Богов и героев нет.

1976 г.

**
*

3.

А время калечит и губит.
Оно то гнетет, то голубит,
То тяжкой бедою прижмет,
Пригнет, — и сжимается сердце,
Не может уже притерпеться,
И вдруг за грудиною жжет...
Над сердцем все давит и давит,
И воздуху, воздуху нет!
.....
Кому свои вирши оставит
Лишь Господом званый поэт?

1976 г.

***

4.

Не надо верить темноте,
Обиде, горечи и злости!
Удар в затылок —
Хрустнут кости,
И деться некуда мечте.
И нет ее.
Лишь темнота,
Безжизненная, никакая
Объяла мертвого Христа.
О ней я ничего не знаю.
Не надо верить темноте!
А Слово — Бог.
Как пуповина,
Оно связало воедино
Меня с умершим на кресте,

Поправшим смертью смерть . . .
Повсюду,
Где верят и не верят чуду,
Не общей смертною золой,
А словно круговой порукой
Единой радостью и мукой
Связало Слово нас с тобой.
. . . Поэт, умерший в наше время,
Поэт, погибший за сто лет, —
И я, посредник между теми,
Кого нигде на свете нет . . .

1976 г.

**
*

5.

. . . А завтра смелый человек
Экологическую сферу
Пырнет, как финкой, контрмерой . . .
О, милый прошлогодний снег,
Еще пригодный для снежков
Ничуть не радиоактивных,
Для снежных баб, коньков и дивных
Звериных по снегу стежков! . .
Но ведь уже в который раз
Я упраздняю это право —
И на кулачную расправу,
И на бессмысленный приказ,
И ничего!
Так может быть,
Смельчак затем и нужен Богу,
Что надоело Божью оку

Смотреть на эту волчью сыть,
И бабью прыть,
И рабью наглость,
На то, как смертным боем бьют,
Как из людей веревки вьют
Для виселиц;
Как волком воют,
Как руки моют, моют, моют —
И вновь на муки предают.
Ведь Он послал им Сына, Сына!
Но волчьей стае — все едино.
Так может быть близка пора:
— Вперед!
— За Родину!
— Ура!

1977 г.

**
*

6.

А вдруг тоска по красоте,
Которая останется —
Воспоминание души,
Вперед ушедшей странницы?
Она уже давно вдали,
А ты еще на месте.
Шагнешь за ней на край земли —
И канешь вниз без вести.
Так не спеши, душа моя,
Давай обманем Бога:
Останься, дальше не маня,
У здешнего порога!..

1976—1978 гг.

**
*

7. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ШАРЖ

Цвет нации, который
Когда-то прежде был,
Загнулся без калорий,
Закопан без могил,
Оставив опыт: слово
Могучее «Не сметь!»
Вон, видишь сверху — провод?
Там вместе — власть и смерть!
Дотронулся руками —
И где ты, человек! —
Не то — горелый камень,
Не то — бессрочный зэк!
... И терпят, губят, любят,
Обманывают, ждут;
Бывает, в холод лютый
Погреться не дадут.
Один другому — кореш,
Другой другому — вошь.
Что сможешь — то отколешь;
Где спрячешь — там возьмешь!
И чужды здесь от века
Нерусские слова,
Что есть у человека
Отдельные права.
Есть у него начальство,
Работа и семья —
На том живи и здравствуй,
Не обижай себя!
А если что случится, —
Кого, за что корить?
Словчить ли, отличиться ль, —
Даст Бог, перекурить!

**
*

8.

Найдет меня земля сырая,
В какой-нибудь найдет стране,
Со своего лица стирая
Меня, — не вспомнит обо мне.
И заплывут следы водою,
И расплывутся, пропадут.
И строчек лесенкой витою
Стихи мои наверх пойдут,
Как пузыри
Со дна речного...
— А кто там?
— Дно — и никого...
Как пустыри
После лесного
Пожара...
— Помните его?

Прощайте, люди дорогие,
Прощайте, верхние мои,
У вас везде — свои дороги,
А у меня — нигде, ничьи...

1977 г.

**
*

9. РАЗМЫШЛЕНИЯ О БЕГЛЕЦАХ

Пристало ли Сократу бегать,
Вдаль уносить афинян беды,
Их глупость — главную беду —
Не уведя на поводу?

И он услышал голос Бога,
Что кончена его дорога
И что пора сомкнуть уста
В ту ироническую складку
Долготерпенья и покоя,
Что у погибшего кота
Или у мертвого героя
Одна и та же.
Бедный кот!
Да и герою не везет...

А может быть, преклонный возраст
Подвел Сократа?
Почему
Неправые бегут под звезды,
А правые идут в тюрьму?

Ах, если бы Христос из сада
Бежал, забыв Ерусалим!
Ах, если б в небе чаша с ядом,
Как ведьма, погналась за ним!
Тогда б, возможно, оказалось,
Что все в дороге расплескалось, —
И был бы жив тогда Христос!

Вот ироническое чудо!
Распятье пусто.
Нет Иуды.
Но кто же с нами? —
Вот вопрос!

1974—1977 гг.

**
*

10.

Торжественно и нелюдимо
Стояли сосны. И сквозь них
Все выше, выше синим дымом
Залив вздымался.
И возник
На фоне, вогнутом, как парус,
В слиянье моря и небес
Неторопливый шорох сосен.

Оттуда начинался лес.
Оттуда начинались звезды.
Оттуда начинался день.
Ну что ж, — лови, пока не поздно,
Живи, спеши, пока не лень!
Потом устанешь и не сможешь,
И на кого тогда пенять?

На то и есть свобода Божья,
Чтоб я своей не смог понять!

1971—1977 гг.

**
*

11.

Да можно ли из Господа,
Который — все на свете:
И свет, и тень, и прах, и плоть,
И каждый человек, —
Себе построить гнездышко?
Так маленькие дети
Плетут из прутиков навес —
Игрушечный ковчег...

За нас был Человек распят,
И снова гибнет кто-то,
И стынет горькая слеза,
Как мертвая слюда . . .
Построить дом, прославить храм —
Дешевая работа.
Но не за этим Он ушел,
А мы пришли сюда.

И каждому сулит Господь,
И каждому доставит
Не то, что каждый захотел,
А то, что каждый — смог.
И Он достойного убьет,
А низкого прославит
Не самому себе в урон,
А нам с тобой в упрек . . .

1975 г.

**
*

12.

Въезжаю в этот раз в Москву,
Как будто в смертную тоску,
Как будто в яростный припадок,
Где ни компрессов, ни припарок,
А только горечи укол.
И тут же совести укор,
Что так нельзя, что так не смею,
Что подло уживаться с нею, —

Петля нужна, а не тоска,
Уж если жить — кишка тонка.
Хоть пей, хоть пой, хоть волком вой, —
Не унижай себя тоской!

1976 г.

**
*

13. ТО ПОХОРОНЫ, ТО ПРОВОДЫ...

То похороны, то проводы, —
Что значит: «быть иль не быть»?
И по какому поводу
Опять мне придется пить?
Не пьют по следам арестов.
Не пьют. И не ждут. И не спят.
Гадает насчет Ореста
Злосчастный его Пилад...
А тут — пустота в пространстве.
Дыра. Человека нет...
Дай Бог вам тропинкой странствий
Уйти от страстей и бед!..

1976 г.

**
*

14.

Всех поэтов редактирует время.
Не при помощи цензуры и премий,
А при помощи твоей, мой читатель,
Мой издатель, мой судья-заседатель!

Завсегдатай клубов лекций и книжек,
Чем-то схож ты и в Москве, и в Париже.
Я боюсь, что это сходство опасно:
На банальностях все люди согласны,
На сенсациях все люди забыты,
Как на праздниках все тюрьмы забиты.
Вот и все. И я одно только знаю:
У луча и у стиха — доля злая.
Но решетку луч пробьет, пусть при этом
Станет серым, как вода, ровным светом.
А зато, когда в стихах нету смысла, —
Темен мир.
Что, если ты с этим свыкся?

1975—1978 гг.

***

15. ПОСЛЕ ПОХОРОН КОСТИ БОГАТЫРЕВА

Плотная вода —
Черная земля.
Вот она сомкнулась —
И в себя взяла.
Над лицом поверхность:
Дерево. Трава.
Звезды не померкли.
И звучат слова.
И, как будто маска,
В глубине легло
Вверх закрытыми глазами
Бледное лицо;
Смотрит вверх оттуда.

Смотрит в никуда.
И не в силах чудо
Долететь туда.
Боже, приоткрой мне
Потайную дверь,
Дай взглянуть сквозь слезы
И шепни: «Поверь».
Лучше быть Фомой Неверным,
Чем, горя дотла,
Видеть прахом, дымом серным
Все Твои дела . . .

1976 г.

**
*

16.

Уходит поколенье победителей.
Уходит поколенье побежденных.
В музеях — поколенье посетителей,
Незнаньем до зубов вооруженных.
Знамен обрывки . . . Шпаг обломки . . . Или
Воззвание и выцветшее фото . . .
Давно зарыты те, кого убили.
Зато убийца, победитель, — вот он.
И все равно, усами ли, бородкой,
Иль подбородком, как булыжник голым, —
Но вверх! Торчком! Колом!
И сладкой ноткой
Экскурсовод воркует:
— Вот он, голубь!
Был незлобив, — но уж не мазал мимо!
Враг для него — как бы фигурка тира.

А он для нас — краса и гордость мира!
Решайтесь, покупатели, живите!
Себя, смотрите, не продешевите!
Они в ответ сквозь этажи и стены
Идут.
Зола — подобье черной пены.
Все плотное — подобие воды.
Растаяла и правда, и свобода,
И в мутную они глядятся воду,
Чтоб выудить вещичек и еды . . .
И видят современные Нарциссы
Там пред собой изображенье крысы.
Но все равно — грызут, грызут, грызут.
Портрет Вождя их растревожил снова:
— Он крысолов! Бежать от крысолова!
Но там, под сердцем, сладострастный зуд:
«Скорей дожрать! Купаться поведут!»

1977 г.

**
*

17.

Пускай в сырой земле не отдых,
Но и усталости там нет.
И все-таки: как ярок свет
Сверкающей, летящей ноты,
Звенящей сквозь труды и годы,
И как стрелы завиден путь, —
Не результатом смертоносным,
А лучевым и светоносным

Усильем, — прочь куда-нибудь,
Вдаль по прямой, по направленью,
Что не приводит никуда,
Как Леты мертвая вода,
Как мира вечное движенье . . .

1976 г.

**
*

18.

Ритмы, ритмы, спасите меня
От любви, от беды, от огня,
Унесите, как щепку волна,
Как солдата уносит война!
И хоть ранено сердце разлукой,
Словно ржавой стрелой —
Слезной мукой,
Хоть пробито оно напролет,
Не от этой он раны умрет, —
От простого удара, стального,
Не от вести, которая — слово . . .

1977 г.

**
*

19. ПОСЛЕ ПОХОРОН ГРИГОРИЯ ПОДЪЯПОЛЬСКОГО

Мой друг ушел.
И мне пора.
Да не ушел! Какая ложь!
Зияние.
Провал. Дыра.
И выпуклый, как камень, лоб
Лежит среди цветов,
Как остров.
И тонет все сквозь пол в ничто.
И все так страшно и так просто.
И что ни скажешь — все не то.

1976 г.

**
*

20.

Обрывается вдруг
Напряженье мгновенья.
Опадает, как лист,
Тело мертвое вниз,
Как тяжелая, плотная, желтая тень,
Что отброшена бедной душой.
Где она? Что же станется с нею?
А телесная тень исчезает,
Ибо тело само по себе
Не имеет реальности камня
И прочности стали.

Напряженье мгновения,
Вечность земная,
Остается теперь
Лишь для нас,
Уходящих.

1976 г.

**
*

21. РУСЬ ПОБЕЖДАЮЩАЯ

Худая сосенка, точь-в-точь —
В войну мальчишка-пехотинец . . .
Катились головы в ту ночь.
А может, звезды покатились.
А деревянная церквушка
С горбатой крышей и крестом,
Как будто смирная зверушка,
Свернулась в уголке лесном . . .
Но все равно: жива душа,
Одна, ото всего отдельно.
И целый мир, как легкий шар,
Не поднимает, а подъемлет
На крыльях призрачных она . . .
И человеку не до сна.
Он озабочен мирозданьем,
И Провиденьем, и судьбой
Своей России . . . Нет такой?
Но есть предчувствие и знанье!
А если благовест не вышел,
И получается набат,
И так колокола гудят,
Что красный петушок по крышам,

Как будто плетью по лицу,
Прошелся по всему посаду, —
Как пулеметом по фасаду,
И всем на память по рубцу,
Словно на палец по кольцу, —
Что делать!
Время звездопада.
Опять пора для воронья.
И Русь — как в речке полынья.
А мир вокруг — как лед, который
Подобен стали.
Сталь тверда.
Но гибельна ее опора:
Все шире черная вода . . .

1977 г.

**
*

22. ПАМЯТИ КОСТИ БОГАТЫРЕВА

. . . И я все думаю и думаю:
Куда мне деться? Как мне быть?
На фронте проще с пулей-дурою,
Намеревавшейся убить.
Раз не убила, то присвистнула:
«Живи, бродяга, не греши!
Гуляй до следующего выстрела
Во здравие своей души!»
А тут свинчаткою по черепу.
Железным ломиком под дых.
Конечно, в общем-то ничем это
Не хуже тех же фронтовых, —
Но время мирное. И вроде бы —
Где фронт? И кто против кого?

И чья там поджидала Родина
В подъезде друга моего?
Печатью Каина отметиться
Не могут горы и моря.
У них, бандитов, есть отечество.
И эта Родина — моя.

1977 г.

**
*

23. МЕДИТАЦИЯ О МАТЕРНОМ СЛОВЕ

На четвертом этаже
Мне людей не видно.
Жить от этого уже
Менее обидно.
Слышен, правда, снизу мат.
Ну так что ж такого?
Наповал, когда впопад,
Матерное слово!
В нем матерость, материк,
Вся мастеровщина.
Бронетанковый язык —
Наша матерщина!
А при этом габарит —
Никуда не лезет!
От космических орбит,
С Колымы по Мезень, —
Вот пространство! Вот размах!
Вот волнами ходит
Мат в кирзовых сапогах
При честном народе!

Даже сад и огород,
Вилы и лопаты
За работою народ
Поливает матом;
Матом кроют, если нет
Над семьею крыши,
Чтоб построил сельсовет
Или Бог услышал.
Мат многоэтажный в три
Этажа и боле
Строят, как богатыри,
Наши дети в школе.
Мат над русским языком
(Не для протоколов) —
Выдвиженец и нарком,
Верховод и молот.
Иностранные слова
В непонятных знаках
Расшибет он в раз и в два
Пролетарских взмаха!
И соединяет мат
Неким нервом общим
Генералов и солдат,
Толстяков и тощих,
Дворников, профессоров,
Молдаван, узбеков,
Прокуроров и воров,
Сторожей и зэков.
Даже Пушкин — гений был,
Вечное светило! —
Беранжеру засветил
Матом прямо в рыло!*

---

* Желающих меня проверить адресую к стихотворению А. С. Пушкина «Рефутация г-на Беранжера». Полн. собр. соч. в 10 томах, Изд. АНСССР, М. 1957 г., т. 3, стр. 45—46.

Но сверкнут ножи в руках
Вмиг у инородцев,
Если кто на языках
Ихних матюкнется, —
По-грузински или там,
Скажем, по-тунгусски.
Хочешь матом по мозгам —
Говори по-русски!
Как романс нетопыря,
Тускло и помойно,
Мат наш ухает не зря
Басом дальнобойным.
— Что-то будет впереди,
Мой российский предок?
— Лучше, парень, не ходи,
Мать твою разэдак!

1976—1977 гг.

**
*

24.

Вон тополей седые космы . . .
И пух, куда глаза глядят,
Летит и приглашает: «Брось, мол,
Живи и действуй наугад!»
А мне бы не утратить ноты
Стрелы, рванувшейся в полет;
Ведь точно так же, безотчетно,
Как пух летит, она поет.
И песня узенькая мчится,
Звенит и меркнет вслед за ней . . .
Ей долететь, разбить, вонзиться —

И тут же получить взамен
Живого — мертвое . . .
Пожалуй,
Не нужно чести мне такой! . .
Но лучше ли бесшумной, малой
Пушинкой сгинуть под ногой?

1977 г.

**
*

25. ЧУДО НА ВАГАНЬКОВЕ

Кардиналы удалились, королевы спать легли.
Короли на троны сели, да не встали . . .
Все — крам-бам-були, крам-бам-були,
Крам-бам-були-були, —
Пузырьками вверх, кустами вверх, крестами . . .
И в ограде копошится старый бедный человек,
Примириться он не может и не хочет,
Что другой такой же сгинул, словно прошлогодний
снег.
Он над ним, как над живым, снует-хлопочет.
А старинный дом кирпичный тянет вверх свои
кресты,
Словно там кого-то ищет — не находит . . .
Говорят, что есть Хозяин высоты и пустоты,
От которого все это происходит . . .
Если б знать, как беспощадна и бездарна простота,
Простоты мы никому бы не прощали.
На Ваганьковом кладбище никогда бы, никогда
Мы б с тобою, дорогая, не гуляли.
Но ведь мы и знать не знаем, что окажется потом,
Знать не знают все пророки и герои.
Только то и очевидно, что пучина и потоп
Обернулись здешней твердою землею . . .

1974—1977 гг.

**
*

26. ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДЖО

...И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомильонный народ..
А. Ахматова «Реквием».

Народ был послушен и прав, и велик,
И чистой метафорой был его крик.
Ворчал каждый пятый, но клал кирпичи.
А каждый десятый шептал: замолчи.
А каждый двадцатый с винтовкой в руках
Конечно же толк понимал во врагах!
Стотысячный каждый
ахматовский стих
До дырок читал и до корня постиг,
Но он подчинялся. Командовал им
Тот каждый мильонный, который незрим.
Так что же нам делать, мой бедный поэт?
Мильонному, вышнему, выкрикнуть: «Нет!» —
Чтоб каждый мильонный скомандовал: «Взять!»
А каждый стотысячный ахнул: «Опять!»
А каждый двадцатый проверил затвор,
И каждый десятый скрепил приговор?
. . . . . .
На царственной бронзе
Лишь прозелень бед...
Не скажешь теперь:
«Exegi monumentum...»

1976—1977 гг.

**
*

27. ВЕЧЕРОМ НА УЛИЦЕ ГОРЬКОГО

Какие моды, посмотрите!
Какой народ! Какой парад!
Словно критяне там, на Крите,
Где впрямь никто не виноват,
Что здесь от Колымы до Крыма
Шли зоны, вышки и война...
Историк усмехнется криво:
— Страшнее будут времена!
Как отшлифованные плиты —
Хоть плачь, хоть смейся, хоть ори,
Нет имени у монолита!
Друг к другу пригнаны они...
Стихи я брошу, как бутылку
Швырял моряк судьбе на страх.
Моя история — бултых и
Сверкнет лишь горлышко в волнах!
Крушенье! Полное крушенье!
Плывет бутылка в никуда.
Потомков призрачное зренье
Увидит ли ее когда?
А вдруг найдут ее?.. Мгновенно
Стихи мои воскреснут... Рок
Растает, как морская пена:
Ты есть!
Я не был одинок!

1977—1978 гг.

**
*

28. ПИСЬМО ДРУЗЬЯМ

Посвящаю Н. Коржавину

С той поры
Не знаю, сколько
Утекло воды...
Океан.
Как от Нью-Йорка
До Караганды.
От привета до ответа
И от нас до вас —
Все равно, что до рассвета
(Не смыкая глаз),
Все равно, что до отбоя
(По утрам в тюрьме).
Столько было до конвоя
Арестанту, мне.

То ли тяжкие вериги,
То ли западня,
Ненаписанные книги
Держат здесь меня.
И не чувствую в себе я
Легкости и сил
Упорхнуть, как в эмпирей,
В край, где я не жил,
Где не жал я и не сеял,
Где по той вине
Мать и мачеха Расея
Будет сниться мне.

Вот и все.
Господь спасенье
Даст или не даст?
От надежды до решенья —
Дальше, чем до вас.

1975 г.

**
*

29. ЭКСПРОМТ

Неужто мы — марионетки у страстей
И пожиратели, добытчики сластей,
И продолжатели себя из рода в род,
А кто не с нами —
Тем поддых и кляпы в рот:
«Заткнись! В себя уйди!
А мы своим путем —
Мы в магазины, в телевизоры уйдем,
В объятье женщины, в науку, черт возьми!»

Как много, в сущности, пещер между людьми,
Где можно спрятаться от жертв и палачей,
Где человек, почти как труп, уже ничей . . .

1978 г.

**
*

30. БЛАГОДАРНОСТЬ

У Поликлета, у Родена, у Майоля
Рождалось ощущение: мое ли?
Мое ли выйдет, или под руку кто скажет,
И что-то вдруг меня на миг в усилье свяжет,
И все получится, все правильно наружно . . .
Но не пропорция — смещенье было нужно!
Не камень слово. Но резец — не род отмычки.
А мастерство — союз свободы и привычки.
Спасибо, Господи, за доброе вниманье:
Стихи открылись целиком, как изваянье.

1978 г.

**
*

31.

Ненавижу я хозяйку,
Эту тонную вдову,
Эту даму-многознайку,
Дуру-паву на плаву!
Мне она сама сказала,
Что великий Кочетков
У нее на антресолях
Погребен среди тюков.
Вы не знаете такого?
Между тем известен он.
Друг поэта Кочеткова —
Златокудрый Аполлон.
А не верите — прочтите,
Не соврал я ничего!
Не достанете — простите:
Не печатали его.

Он лежит на антресолях
Мертвый, стало быть, поэт.
Об него споткнулась кукла,
У которой глаза нет.
Каблучонок женской туфли
Наступает на него.
Этот Кочетков не труп ли?
Труп — не более того!
Каблучонок-татарчонок,
Каблучонок-шебуток . . .
Слышен битых и ученых
Пыльных шмоток шепоток:
«Ишь, мол, ты, поэт великий,
Все равно, дурак, забыт,
Вместо памятных реликвий
Нами, нами шкаф забит.
Нас с тобой перемешали,
Жди помойки, наш собрат!
Под крылом облезлой шали
Рукописи не горят!»
Ах, потомки и потемки,
Шмотки, шутки, тишина!
Спи, кифара без поломки,
Чья натянута струна!
И неважно, что там было,
Кто за нас, а кто за них . . .
. . . Гаснет днéвное светило,
Без вести пропавший стих . . .

1976—1978 гг.

**
*

32.

А что она, случайность?
Оплошность и пустяк?
Нечаянная крайность —
И впредь не будет так?
Но это слишком просто.
Опять среди жнивья
Нечаянная поступь
Раздавит муравья.
Квадратная, тупая,
Тяжелая нога,
Не знавшая, ступая,
Ни друга, ни врага,
Поднимется — и снова
Раздавит и шагнет . . .
Без умысла дурного —
Так просто . . .
Жизни ход.

1957—1978 гг.

**
*

33. СТАРОСТЬ

. . . И вот я выпотрошен весь —
С конца и до начала.
И нет меня ни там, ни здесь.
Ни моря, ни причала.
А так — один сплошной туман,
Пятно, где все растает . . .
Так ночь темна, и смерть темна
И речь темна простая,

Которой так владел пророк,
Что камни мог он сдвинуть.
Я так заговорить не мог,
И мне осталось — сгинуть.
И все, что было мне дано,
Беспамятство потушит . . .
Господь ли, люди, — все равно, —
Спасите наши души!

1978 г.

**
*

34.

Не уступить бы этот день
Забвенью, легкой смерти.
Такая голубая тень
Лежала на снегу!
И плыли тучи в высоте . . .
Плывите, сыпьте, сейте
Снежинки,
Зерна белизны,
Зимы
Во всем цвету!
И расцветал повсюду снег
Голубоватым, алым
И серебристо-золотым,
Нивесть еще каким . . .
Как будто радовался Бог,
Что, существуя в малом,
Он был и небом и звездой
И праздником моим . . .

1978 г.

**
*

35. РУССКАЯ СМЕРТЬ

Здесь не умру я, здесь подохну.
Здесь все такие же лежат.
Почившие лежат в Европе,
Где романтический лишай
Ползет над мертвыми по плитам.
У нас, куда ни ткни, — всё пни там,
Беспамятный горелый лес,
Который был — и вдруг исчез.
У нас и сам великий Сталин
Задохся; воротник тугой
Небось, хотел рвануть рукой, —
Да только руки не владали.
Как пес заброшенный, один,
Полувселенной господин
Дух испускал, хрипел, —
И что же?
Никто не смел об этом знать,
Чтоб в небо Дух единый, Божий
Мог без помехи отлетать!
Вот символ смерти русской, здешней:
Перед кончиной ад кромешный.
И точно так же погибал
Поэт на вшивой пересылке.
Здесь люди тают, как обмылки.
Где рядовой? Где генерал?
— В расход!
Вповалку.
Наповал.
Но только так.
Без снисхожденья.
По долгу русского рожденья.
И одного не взять мне в толк:
Какому черту этот долг?!

1978 г.

**
*

36. РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ИЗДАТЕЛЬСКИХ ТРУДНОСТЯХ

...Необходимость публикации сборника определилась как бы стечением объективных обстоятельств: вошедшие в него материалы отчасти оказались отвергнутыми существующими в эмиграции русскими журналами, отчасти же, и не будучи им предложены, явно противоречили утвердившимся в русских эмигрантских кругах идейным течениям.

Сборник «Самосознание».
«От составителей».

Вот так и возникает настоящий «Самиздат»,—
Когда ни там, ни здесь, нигде
Печатать не хотят!
А слово — словно сердце,
Все бьется — и ему
Зажаться, притерпеться,
Ей Богу, ни к чему!
Живет его Россия —
Моя, точней сказать, —
Не ждет, чтобы Мессия
Пришел ее спасать .
С подмогой, без подмоги —
Всегда на том стоим:
Там — гоги и магоги,
А мы тут — Третий Рим!
Построился иначе,
Чем прежде, русский строй.
«Номенклатура» — значит
Не царь и не герой,

А просто каждый низший —
Обычный черновик
Того, кто там, на крыше,
Близ Господа велик.
Коль черновик подправят,
Подучат, облекут —
Во всей военной славе
Начальник новый тут!
Неважно, кем был прадед —
Купцом ли, кулаком.
Народ
народом правит
Сам на себе верхом,
То сверху бьет и шпорит,
Раз был такой приказ,
То сам себя зашорит,
То сам отдышку даст.
А ртов нам не зашили —
Проси, такой-сякой!
И просит о зажиме
Сознательный любой.
О лютой дисциплине,
Чтобы порядок был. —
И так бы всех сцепили,
Чтоб черт не расцепил!
Понятно, что немедля
При нраве столь крутом
Является и петля
В соседстве с хомутом.
Но есть у нас Есенин,
Поллитра на троих,
А тот, кто не со всеми, —
Конечно, просто псих.
Он нарушает принцип:
«Всегда одно из двух!»
И здесь, и за границей
Коробя русский дух.

«Посев» ему откажет,
«Гослит» перечеркнет,
Лишь КГБ подскажет —
И за руку
Возьмет . . .

1977—1978 гг.

**
*

37.

Надо мной проплывают
Кремлевские звезды во мгле.
Двух России не бывает.
Россия одна на земле.
Что мне «любит» — «не любит»!
«Сойдешь поневоле с ума» . . .
Не откликнутся люди.
Не вспомнит имен Колыма.
Вам не нравится это?
Помягче бы да помилей?
Да побольше поэтов,
Поменьше бы концлагерей?
Что ж, и мне не по сердцу
На луну волком выть,
Водку пить, —
Но такое наследство
Кому я могу уступить?
Там, на русской равнине,
Без суда мой отец был казнен.
Говорят, уронили

В грязь Россию такие, как он, —
Коммунисты-чекисты,
Безбожники-большевики...
А мне слышится выстрел,
Когда их кончали стрелки,
Их надежду на чудо,
На братский союз трудовой, —
Всё кончали Иуды,
И в штольню да вниз головой...
Ах, вы скажете, это —
Возмездье за горе и смерть...
А кому — за ракеты?
За то, что не светоч, а смерч?
И никто не воскреснет.
И песен никто не споет...
Вся Россия возмездьем
Сама над собою встает.

1978 г.

***

38.

...А что такое
Положенье вне игры?
— Пример покоя.
Приложение дыры.
Дыра нужна была кому-то и на что-то,
Теперь она — лишь для зарплаты и расчета.
Теперь ее
Сырой землицею зашьют,
А что останется —
В забвение сошлют,

Чтоб вы не путали себя
С другим забытым,
Как мы потом,
Травою по верху зашитым,
Землею стиснутым . . .
Да что там!
Просто пепел . . .
Не прокричит на наше счастье
Трижды петел.
Мы не исчезнем на рассвете,
Ибо в полночь
Мы не восстали
Не во вред и не на помощь.
Мы вне игры.
Одна дыра — в другую дырку.
Я не про тех,
Я не про лагерную бирку,
А я про вас.
Про нас с тобою, дорогая.
Я милость Господа
Всем сердцем принимаю . . .
Что ж, поцелуемся,
Помолимся, поплачем, —
Побудем тем,
Что ничего нигде не значим,
Ни в синем небе,
Ни в раю
И ни в аду . . .
Так, дуем на воду,
Чтоб отвести беду.

1977 г.

**
*

39. ПРОЩАНИЕ

Александру Галичу

Уезжают из России поэты,
Потому что наступила пора:
Видно, старая их песенка спета,
А у новой — ни кола, ни двора.

Здесь российская тоска и отрада —
Спас на Кручах, на Песках, на Крови...
Разве много после этого надо?
Хочешь — мучайся, а хочешь — живи!

Так и строятся ряды наших строчек.
С тем и катимся потом под откос.
Одиночество — приют одиночек.
Никому не разделить наших слез.

Никому не удержать расставанья,
Налетевшего, как ветер в степи...
Пусть друг к другу поспешат на свиданье
Ненаписанные нами стихи.

1974 г.

**
*

40. ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ГАЛИЧА

И снова
В основе
Надгробного слова
Лежат мостовые чужих городов,
Глухие кордоны, заставы, засовы,
Кривая ухмылка:
— И этот готов.
От пули, от боли, от горького хлеба,
От сладкой свободы, от умных людей . . .
Ах, как ядовит этот нищенский жребий:
Незваный. Свободный. Ненужный. Ничей.
А только и дела: нечаянный случай, —
Отчаянный, сучий, концов не найдешь . . .
А, может, и правда царевич в падучей
Наткнулся всем горлом на собственный нож?
И наши стихи не придут на свиданье.
Вот разве что эти пойдут за толпой
Кривою дорожкой к границе молчанья,
К границе забвенья, где прах и покой.
Осталось не то, что звучит и поется,
Пусть слава наощупь тверда, как алмаз, —
Нет, что-то другое от нас остается,
Что не было нами, но помнит о нас.

1978г.

**
*

41.

Я не хочу ни зла, ни боли,
Но я хочу понять
И быть
Не горькой мыслью поневоле,
А страстью знать и не забыть.

И эта сила узнается
Людьми друг в друге каждый раз,
И ничего не остается.
Все заново родится в нас.
Так из волны возникнет пена,
Чтоб снова сделаться волной . . .
. . . . . .
Что, если жизнь моя — измена
Тому, что оказалось мной?

1975 г.

**
*

42.

Я как немой. Мне хочется сказать
О Боге, о России, о поэте,
Но ведь стихи всегда идут на третье —
На сладкое, на горькое, вприкуску . . .
Они не могут даже и по-русски
Предупреждать, излечивать, спасать.
А проза может говорить умно.
Она подробна, а стихи мгновенны.
Стихи подобны замкнутой вселенной,
А проза, как открытое окно.
Что вижу я из моего окна —
Того не видно с Сухаревой башни
Не потому, что башня снесена,
А потому, что с высоты вчерашней
Сегодняшнее видится легко —
Спокойно, беспристрастно, далеко . . .

Из моего окна я вижу, как
Россия горевала, пировала,
На костыли из всех руин вставала
И снова не нуждалась в костылях,
И снова попадала вдруг впросак —
И из льняных, ржаных и прочих нитей
Торчали, словно алые гвоздики,
Тела расстрелянных и корни тех событий,
Которые должны были придти,
Хоть с ними было нам не по пути.
Которые пришли, не миновали,
Хоть в этот раз не их мы ожидали,
Надеялись: придут чрез полчаса . . .
Но и у нас бывали чудеса!
И мы, раздавленные, оживали,
Донашивали что-то, зашивали . . .
И верили . . .
Зачем? В кого? Во что?
Но это наша русская основа:
Здесь в душу насмерть западает Слово —
И смотришь, — вправду солнышко взошло!

1970—1978 гг.

**
*

43. ПАМЯТНЫЕ СТИХИ О ТОМ, КАК МОЙ ДРУГ Н. Н. НАПИЛСЯ НА ПРОВОДАХ

Вот такая жизнь — полукровка:
Полузабытье, полужизнь . . .
Булькает дружку поллитровка:
— Успокойся, брат, полежи!
И лежит доцент под забором,

И торчат над поверженным в прах
Вверх, словно гусарские шпоры,
Щиколотки в красных носках.
И темно в мозгу, словно в печи,
С вечера остывшей давно...
Все тебе дано, человече,
Женщины, и хлеб, и вино —
Что же ты лежишь, как убитый?
Где же эполеты твои?
Где пиджак твой, золотом шитый?
Что кукуют нам соловьи?
До свиданья, мать моя — мама!
Стой, таксист, браток, погоди!
Сыплет, как небесную манну,
Небо проливные дожди.
И, конечно, надо поехать, —
Только вот руки не поднять.
И, конечно, ум — не помеха,
Только что же надо понять?
И зачем идти нам куда-то,
Расходиться там по домам,
Словно вырванные цитаты
Ищут свой контекст по томам?
Все равно — ни чести, ни места,
Все равно досталась страда:
Быть обрывком русского текста,
Занесенным Бог весть куда...

1978 г.

**
*

44.

А бывает ли без рифм и ритма лирика?
Разумеется, бывает и она,
Точно так же, как детишки и жена
Могут быть у католического клирика.

1977 г.

**
*

45.

. . . И стало быть нужно нудить, чадить,
Других не трогать, себя щадить,
Искать снисхожденья
У редакторов
И выздоровления
У докторов.
Пилюли, уколы, таблетки . . .
Ура!
Вышло полслова моих вчера —
Целая книга, триста страниц,
Почти выходящая из границ
Дозволенных фактов.
А сколько сил,
Пилюлек, таблеток и воспоминаний
О тех, кто здесь
Не дошел, не дожил! . .
Ах, как умело их всех унимали!
В родимую почву
Гуртом уминали,
На высылку в землю,
В культурный слой,
Где каждый —
Любому другому свой . . .

Они — ради нас.
А я — из-за них.
Вот так и живу,
Что почти затих...
Но что же мне делать?
И как мне жить?
Где затеряться,
Словно иголка?
А то ведь за слово
Придут душить.
А душат они
Умело и долго.
И ни таблеточек, ни пилюль.
Тухлая камера. Тяжкий июль.
И часовые, чьи морды — как бляхи,
И, как нарочно, не держатся брюки.
Стриженый — словно постригли в монахи.
Ряженый, — если в наручниках руки.
Ибо не вор я, не шиш и не тать, —
Так для чего же мне руки ковать?
А чтоб не писал!
И я не пишу.
Полслова свои
Сижу-вывожу.
И нет уже сил
Позавидовать вам,
Кто пишет, как хочет,
В несчастье, в изгнанье,
Для будущего —
В бестиражных изданьях,
Для призрачных душ,
Что ни здесь и ни там...
И мы — ради них.
Они — из-за нас...
Кому же на счастье
Заря родилась?

1977 г.

**
*

46.

Кто поможет человеку стать собой,
То есть сделаться животным не таким,
Что химичит даже с собственной судьбой,
Ставя опыты над кем-нибудь другим:
Над собакой, над соседом, над страной,
Над вселенной — если б смог ее объять —
А пока он ставит опыт надо мной,
Чтобы в будущем жилось ему на ять!
Даже вовсе не ему — не доживет —
А детишкам, тем которых вовсе нет,
Потому что все кромсает он, да шьет,
Все кроит для нерожденного жилет.
Впрочем, дудки! Не такой уж он дурак.
Он мудрует мне — петлю, себе — кушак.
Человек простосердечный и прямой,
Говорит он: «Не торгуйся за еду!
Ты глаза свои немытые промой,
А иначе третье дело заведу!»
Вот он хрупает, царапает, хандрит,
Леспромхозы и заводы мастерит,
Наряжается, стыкуется и пьет,
Вдоль по Азии, по Африке идет...
Богатырь! — Одно словечко на уме.
Но куда же от него деваться мне,
Потому что ближе, ближе тот момент,
Когда пустит он меня в эксперимент,
Словно книжку запрещенную под нож...
А уж тут-то не воротишь, не вернешь.
Тут конец, когда в атаку и — «ура!»
.....
Но победа не доводит до добра...

1977—78 гг.

**
*

47.

Стихи экспромтом, на пленере,
Писать естественней, чем так,
Как на классическом примере
Научит дураков — дурак,
Который славит черновик,
Как Ангарстройку — большевик.
В черновике есть ремесло.
А Бог работал набело.

1977 г.

**
*

48.

Я стараюсь понять окружающее в терминах Добра.
Слова одного современного философа.

... Он мыслит в терминах Добра, —
«Добра» — не злата-серебра,
И не добра, когда удар —
И рубят смаху ...
А Бог не в терминах Добра
Творил и Еву из ребра,
И Самого из праха.
И, видно, был такой замес, —
Не Господа попутал бес,
Он так хотел, а я его понять не в силах, —
Что все на ощупь и на вес ...
Ах, мой бубновый интерес!
А я-то ждал, чтоб мне светло и сладко было ...
И каждый раз, когда живешь,
Мечтаешь, веришь, любишь, ждешь, —

Ты не дождался. Потерял или обманут.
Из рая изгнан. И опять
Пошел по ветерку гулять,
Уполз, как пес,
Свою зализывая рану.
Но все равно: люблю, хочу,
Надеюсь, говорю, молчу...
Чем мне пожертвовать
И для кого стараться?
Не уцелеть, не уберечь,
И спичкой моря не зажечь...
Но чем не истина:
Узнать —
И обознаться!

1977 г.

**
*

49.

Что значит «рукописи не горят»,
Когда за них читателей корят,
Когда за них писателей сажают, —
И сажа, сажа хлопьями в трубу...
А сам писатель с биркою в гробу
Лежит, как говорится, не моргает.
Его потом из гроба — прямо в ров.
Здоровый ров, словно открытый рот,
Над всеми, кто летит туда, смеется.
А гроб обратно в зону возвратят.
Его дают умершим напрокат.
Ров не захлопнется. Земля не отзовется.
Вот это — «рукописи не горят»?

Но, Господи, Ты был при этом деле.
Поэта слышал Ты последний стон.
И видел Ты его последний сон
С ним вместе.
Ты запомнил все, что сам он
Задумал, а исполнить не успел.
Но — Всемогущий! — ты кусочек сала
Ему не сунул, чтоб поэт поел . . .
Ах, люди помогать не захотели!
Что будет с нами?
Станем ли золой?
Как были, так останемся — Тобой?
Не знаю . . .
Но темны Твои пути.
Там человеку правды не найти.
А если там себя найти он сможет, —
То много ль в том Твоей заслуги, Боже?

1978 г.

**
*

50.

Нет, я не раб Господен!
Я не рад,
Что под пятой и под судом судьбы
Бессилен я.
Но все равно — не раб!
Пускай приходим к смерти, как рабы,
Мы все.
Пускай завишу я опять
От случая, от сучьего кивка;
Пусть, на прощанье не успев обнять

Любимых, —
я исчезну, как строка,
Которую я в рукописи стер
За то, что в ней слова, как серый сор, —
Но я не раб!
Я пленник.
И когда
Ты, Всемогущий,
Вновь пошлешь мне боль,
И, скорчившись от муки и стыда,
Я вновь неравный проиграю бой, —
Я все равно не раб!
Я побежден
Твоею силой — только и всего.
Всего-то и победы — горький стон:
«Помилуй, Боже!» и «Спаси, Господь!»
Но раб — не я. А просто Ты — силен.
Поможешь — снова сяду я в седло.
Откажешь, — как костыль подгнивший, плоть
Меня держать не будет.
Я сражен.
Я больше головы не подниму.
Но если я и вправду сотворен, —
То пусть я горд, завистлив, зол и слаб,
Но я Твое подобье!
Я не раб!

1978 г.

**
*

51. МОЛИТВА О БОГЕ

Свобода Божья — это произвол.
Бог все на этом свете произвел:
Несчастный случай, гибель и спасенье,
Чуму — и манну сладкую с небес,
Невиданное чудо Воскресенья
И тех, кого опять попутал бес.
С тем и молись!
Умасливай Его ты,
Что Он — твой милосердный, твой Отец,
Но если Он тебе подарит льготу,
Ужели позабудешь ты о тех,
Кто умереть — не хочет, жить — не может,
Кто был сожжен, растоптан и убит,
Над чьей могилой только толстокожий
О Божией всеблагости бубнит...
Нет, этот Бог — для сильных, озверелых,
Жестоких, словно зубья колеса,
Которыми полосовали тело,
Чтобы душа являла чудеса.
Приди, Господь, всесильный, мудрый, добрый,
Которому я верить был бы рад!
Тебя не существует слишком долго, —
Ужели я и в этом виноват?
Пусть Нынешний в ничто меня раздавит,
Не воскресит в раю своих теней, —
Но я умру, в сырой земле растаю
Слезою человека
По Тебе!

1978 г.

**
*

52.

Когда душат тоска и боль, и гнев,
И в горле корчится напев,
Но не звучит, как спазма он,
И ты почти на нет сведен
Удушьем страха, смертей, потерь, —
Поверь,
В остальное свое поверь!
Я знаю, что счастье мое и дым —
Родные братья делам моим,
И хрупче птичьих
Кости людей
В курганах, где бусинки между костей.
И все, что случится, — полынь и прах.
И невозможно стучаться в небо.
Тот, кто для Господа прям и прав,
Часто с земли уходил как не был!
Но все равно: и листва, и лёд,
Запах цветов, мятежи, могилы, —
Все неизбежно в меня придет
Сосредоточья искать и силы
Пока я жив.
А когда умру —
Продолжи, прохожий,
Мою игру!

1975—78 гг.

**
*

53.

Мы живем на неверной, на зыбкой земле.
Корни, камни, суглинок — и все, как желе,
И поди разбирайся, что стало, что было,
Если всех, кто остался, землею накрыло,
Пригвоздило, достало, прошило, прожгло...
Назовите, кому под конец повезло?
В чьих глазах словно лезвие вдруг не сверкнуло?
И лодчонку кормою вперед развернуло,
Понесло, закрутило, бесследно, навек...
Даже крикнуть: «Прощайте!» — не смог человек.
.....
Мертвецы — веки желтые, щеки тугие —
А над ними, как рой привидений, живые...
Там, на выпуклой сфере, движенья живых
Неуместны, как танец фигур восковых...
Существует ли смерть, где приметы иного —
Черно-белого снега и шара земного —
Вдруг исчезнут, где мир существует чудесно:
Не как всё — во плоти,
Как ничто — бестелесно?

1978 г.

**
*

54.

...А мне живется сладко и тоскливо.
А надо мною — каждый день восход,
И я опять в неведенье счастливом
О том, что завтра вдруг произойдет.

И если что — не поминайте лихом,
Как я про вас не вспоминаю зла...
Где наша мысль о вечном и великом?
Слезой скатилась и в песок ушла...

1976 г.

**
*

55. СВАЛКА НА ПУСТЫРЕ ВО ВРЕМЯ ЛЫЖНОЙ ПРОГУЛКИ.

Что там было на самом деле?
Тряпки тлели.
Рельсы ржавели.
Свалка — пустошь — корявый куст.
Рвань, железо, осколков хруст.
Под деревьями все убито:
Влоск затоптано, вдрызг распито.
Весь промасленный и застойный
Отражает реки рукав
Этот жалостный и помойный
Вид земли,
Обращенной в прах.
Этажи торчат в облаках...
Много больше в полях поспело б
(Если б не было зим!)
Зерна.
Только мне-то какое дело!
Пусть наводит красу зима!
Все равно бы это болото
Стыло б, мокрое, как мокрота,
И никчемное, как волдырь.

Дело тут не в трех урожаях.
Мало топчет — тут унижает
Землю наш дурак-богатырь.
А зима за Ивашкой следом
Все засыпала белым снегом,
На снегу построила день,
Как аквариум, солнцем полный;
Он на снежные эти волны
Голубую с золотом тень
Бросил так, как метали диски —
В ясном небе скользнуло низко
Солнце красное на заход . . .
Но кого же это тревожит?
Это с каждым случиться может.
С нами тоже произойдет.
Что же было на самом деле?
И не тлели, и не ржавели,
А засыпанные белели
Смертоносные все углы.
И чудовищные домища
Не как жвачка, жулье, жилища
Были рядом между собой, —
А как взлет, силуэт, виденье,
Ткань тумана, преображенье
Слова песенною строкой!
Кучи стали теперь горами.
На алмазной, белой горе
Ветки черные в белой раме —
Как чеканка на серебре.
Это чудо вдруг облетело
Всю Россию этой зимой.
. . . . . .
Правда там, где не помнит тело,
Что когда-то было землей . . .

1978 г.

**
*

56.

...А я-то думал, что Европа
Так велика и так прекрасна!
Отчизна сыра и укропа
И край оливкового масла,
И сладкой манны гуманизма,
И освежающей свободы...
Как вглядывался я в Матисса
И в репродукции соборов!
И было мне как будто стыдно,
Проштрафился как будто в чем-то,
Как будто, бледнолицый с виду,
В душе я не такой,
Я черный...
Мне было стыдно перед ними, —
Перед камнями их, корнями,
Их гордым правом быть своими
Между собою, но не с нами...
У нас кратчайшие дороги,
А там такие повороты,
Что запросто протянешь ноги
От этой от одной заботы,
И серой ветошью, как мышью,
Обгрызанные города,
Родные наши городишки,
Где пьют — и горе не беда,
Где мальчики сидят ночами...
Да нет!
Один какой-нибудь

Доискивается начала,
Где повернулся русский путь.
И хруст костей, как хруст камней,
Как вой невидимого ветра...
А больше не было корней.
Заря. Звезда. И сосен ветки.
И вновь над черною тайгой
Вставало чудное виденье,
Живою, светлою тоской
Питая наше
Воскресенье!

1977 г.

Конец книги.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Предисловие (Кронид Любарский). . . .	3—7
Несколько слов о стихах и событиях. Проза	
Генерал на четырех подметках . . .	9—13
Одиссея у каждого своя . . .	13—16
Рубцовские впечатления	16—26
Воробьиные песни. Цикл стихов .	27—61
О стихах и событиях. Проза	
Год печали	62—71
Високосный год. Цикл стихов . . .	72—126

подавательскую работу из-за гонений на него в связи с подписанием им писем протеста против суда над Гинзбургом, Галансковым и др. С тех пор работает как профессиональный литератор и переводчик (главным образом пьес и поэзии). В 1972 г. в Мюнхене в издательстве «Эхо» вышла книга его стихов и прозы «По грани острой». В 1977 г. в Москве в издательстве «Искусство» вышла его монография «Остужев».